

Строкомер

главы из романа

— Разрешите войти!

— Входите!

На пороге — Володя Высокий. Он же, как подчеркнуто корректно обращается к нему наш учтивый редактор, — Владимир Николаевич. Он же — колымский абориген и фотокор нашей газеты.

— Разрешите доложить! Ваше задание выполнено! — Левая ладонь приставлена к виску кудрявой черной головы. Черной, как смоль, — так и хочется прихлопнуть избитым штампом, усугубив эффект несколькими серебряными нитями в его столь же смоляной бороде.

— А вы, Владимир Николаевич, в армии-то служили? — спрашиваю, поглядывая на его поблескивающие крупноформатные очки.

— Никак нет! На Даманском! С китайцами воевал. Чуть не грохнули.

— Звание?

— Ефрейтор!

— А ефрейтор должен знать, что честь отдают не голове, а форменному головному убору. Надеть шапку и повторить!

— Виноват, товарищ...

— Старший лейтенант. И, кстати, товарищ ефрейтор, честь принято отдавать правой рукой.

— Так точно!

— Я тоже... курс молодого бойца проходил. Печатаю шаг мимо лейтенанта, и левой честь отдаю. Он глаза выпучил: «Почему левой?» — «Так вы ж слева, товарищ лейтенант...» Он

в сугроб упал и долго там купался, хохотал. Потому что зима снежная была, товарищ ефрейтор!

— Так точно, товарищ старший лейтенант.

— Хватит ерничать. Чего пришел?

Из черного пакета на стол ответственного секретаря, на мой, то есть, вытряхивается пачка фотографий: школьники в строю, школьники маршируют, отдавая честь — правой, кстати, рукой, школьники собирают автомат...

— Занятия по военной подготовке в школе-интернате. Фоторепортаж на полосу!

— Размечтался!.. Но вот эти три я бы оставил. С редактором договоришься...

— Дда, разбежался, с-сейчас, б-бегом... Здравствуйте, Анатолий Федорович, я вам денежки принес за квартиру и за свет. Н-на разворот! — Одного слова «редактор» достаточно, чтобы благодушный настрой Владимира Николаевича треснул, как спелый арбуз при первом прикосновении острого тесака. Волнуясь, он слегка заикается. — Ты секретарь, т-ты и иди!

— А мне-то что? Не мои ж фотографии.

— Ну, т-ты же знаешь...

— Ладно, похлопочу. Ты только не расстраивайся. Хорошие карточки, как говаривал Фрома, твой скороходовский коллега.

— А что, с-скажешь, плохие? Я плохих не делаю. Я тут один, на весь район. Классик жанра...

Так и уходит, что-то бормоча под нос. А приперся-то кстати: я как раз рылся в папках, искал, чем бы подбить на третьей полосе статью о подготовке прииска «Бурхала» к промсезону.

— Забыл, голову ты мне заморочил! — Фотокор опять на пороге.

— Это кто кому.

— Вот, заметка военрука. Я ему сказал, чтоб текст был. Попугал немного. Н-написал! Русский, а соображает.

— А ты что — не русский?

— Русский.

— А за что ж народ обижаешь?

— Имею право. У меня дед в пятом поколении цыганом был. Пока!

На мятом школьном листке в клетку четко изложены все военные тайны: факты, даты, имена, распорядок занятий...

Выбираю две фотографии. Иду к Папе. Папой нашего ре-

дактора, за глаза, конечно, зовет Валентина, она всем дает клички. Например, Люду-машинистку она зовет либо Кастрюлей, почему — не знаю, либо Емелей — производное от фамилии. Что касается конкретно Папы — тут прослеживается некоторая логика. Редактор старше Валентины на двадцать лет. К тому же и в журналистике он первый ее учитель и отец родной: после школы, до отъезда на учебу в Ленинград, Валя работала в многотиражной газете «Синегорье», где наш Папа был тогда редактором. А в газете, куда она распределилась после университета, у редактрисы прозвище было Мамка. Так все и сложилось.

Дверь кабинета открыта. Слева, за рабочим столом, — наш рыже-лысый (опять Валькино) руководитель. Перед ним — газетная полоса, на которой черными чернилами вымараны все некогда живые места. Еще несколько полос со старыми корректурами и новой версткой раскиданы по длинному столу для заседаний, т-образно приставленному к редакторскому. Не отрывая пера от истерзанного текста, редактор нехотя поднимает голову, смотрит внимательно и настороженно, можно сказать — изучающе, но с обыкновенным своим хитроватым прищуром. Почти как Ленин.

— Вот, на третью можно поставить, из интерната. Две фотографии и расширенная подпись — военрука.

Берет снимки, долго рассматривает, поворачивает влево и вправо, перевертывает, нет ли чего на обороте. Думает.

— Школа-интернат?

— Школа-интернат.

— Ну, школу-интернат можно, там военная подготовка старшеклассников хорошо поставлена. На бюро райкома отметили.

— Ставлю обе?

Он отрывается, наконец, от фотографий, поднимает на меня свои едкие, зеленые, слегка выцветшие и полные недоумения глаза. Голова его — вся, одновременно: и лицо, и шея, и лысина, слегка краснеет.

— Зачем же обе? Одной достаточно.

— А если две — репортаж будет.

— Ну, вторую потом куда-нибудь поставите. Больше одной нельзя.

— Почему нельзя?

— Так запретили.

— Кто запретил?

Он мнетя, что-то прикидывает внутри себя. И смотрит ясным взором.

— В «Правде». В «Правде» два или три раза писали.

Теперь теряю дар речи я.

— ...В «Правде»?.. Так они сами на первой полосе репортажи по три-четыре снимка дают!

— А на внутренних — только по одному, — находится Анатолий Федорович.

— Ну, хорошо, я пока вот этот возьму, тут и дети, и военрук. А вы все-таки подумайте, я после обеда зайду. Все-таки школа-интернат, и ваша дочка там учится, и в райкоме на хорошем счету...

Наша газета называется «Северной правдой», хотя могла бы называться и «Ягоднинской», так как находимся мы в колымском райцентре Ягодное, или Ягодный, что в 528 километрах от Магадана, на берегу одноименного ручья, который тут же, на территории поселка, впадает в реку Дебин, приток Колымы. В 1932 году на этом, еще безымянном тогда ручье, работала геологическая партия. Поисковики поразились обилию брусники и голубики в окрестностях, и в честь сочных ягод назвали речушку. С 1936 года берега ручья стали застраиваться, появился поселок, который в историю XX века войдет, как населенный пункт, где дважды, в 43-м и 45-м годах, на пересылках побывает Варлам Шаламов. И откуда оба раза, вопреки всем правилам (в одну и ту же спецзону дважды не сажали), он будет отправлен на штрафной прииск, в спецзону на Джелгале, которую он потом срисует, своим угрюмо-выразительным почерком, в хорошо известном теперь рассказе «Город на горе». 22 июня 1943 года Шаламов, после попытки побега, ждал здесь смертного приговора, но получил всего лишь 10 лет лагерей по статье 58-10: за антисоветскую агитацию. Это было редкое по тем временам — открытое заседание трибунала с тремя свидетелями (одного из которых Варлам Тихонович, правда, видел впервые), а также с последним словом обвиняемого. «Единственный гласный суд в моей жизни».

В январе 1984 года, когда ясным морозным днем «львовский» автобус катил меня по Колымской трассе в сторону Ягодного, рассказ «Город на горе» еще ждал своего часа в архивах ИРЛИ. В самом же райцентре ничто уже почти не напоминало о прежней, страшной Колыме. Разве что кочующие время от времени по поселку уродливые бичи, кто без руки, кто без глаза, — последнее напоминание о тех миллионах человеческих судеб, что прошли некогда через дальстроевские лагеря. Миллионы — вовсе не преувеличение. По данным нашего аборигена и фотокора, на территории Магаданской области (Колыма плюс Чукотка) в 50-е годы «проживали» 5 миллионов человек, при том, что к началу 80-х годов эта цифра не достигала и полумиллиона: по переписи 1979 года — 466 тысяч. Владимир Николаевич любит точность.

Подобные разговоры возникают у нас довольно редко, мы мало знаем о тех годах, и никто не торопится пока нам о них рассказывать. Языки развяжутся лет через пять, когда окончательно рухнет советская экономика и придет время искать виноватых и забалтывать, захлебываясь в разлившемся океане гласности, правду обо всем, что сотворил с товарищами из Политбюро новый генсек... Пока же лишь отдельные унылые мысли о прошлом, да еще в подходящий момент, навевает нам висящий над поселком густой сорокаградусный смог. Когда, например, посадив четырехлетнюю дочку в санки, на теплую подстилку, и укутав ее, одетую в мягкую кроличью шубку, подаренным бабушкой шерстяным платком, я тяну бечеву через весь поселок — в детский сад, а потом, налегке, возвращаюсь в редакцию, которая как раз на полпути между домом и садиком. За двадцать-тридцать минут этого пути под черным колымским небом можно представить себе любые картины и задаться вопросом: как, скажем, на таком морозе изможденные и полуодетые люди выстаивали в тайге и на приисках нескончаемый рабочий день, добывая план и мечтая о пайке хлеба, которую они получают за этот изуверский труд? Получат для того, чтобы назавтра опять валить лес и долбить в камень замороженную землю, скрывающую вожделенные золотые запасы задушевной Родины.

Вторым аборигеном в редакции была Валентина, все же остальные — «понаехали» и были неместными. В Колымскую правду каждый из нас приехал со своей: Анатолий Федорович — с Кемеровской, где родился, и Томской, где учился на филолога в университете, Ранетов — с Новгородской, я — с Ленинградской, от романовской духоты которой сбежал на вольную Колыму, заведующий отделом экономики Виктор Андреевич Кирьяков — с Донской, а «отдел писем» Ольга Ивановна, которая «самого Горбачева видела» и даже пила с ним водку на каком-то полевом стане, — со Ставропольской...

В каждом городе и поселке была в те годы своя «правда», так же, как в любом из них одна из центральных улиц обязательно носила имя Ленина. Но была и главная правда, единая для всех, верная и непререкаемая, истина в последней инстанции, на которую мы, журналисты, были призваны молиться и с которой обязаны были брать пример: газета «Правда», орган ЦК КПСС. Ее должны были выписывать все члены партии, коими

являлось большинство из нас. Свежий номер газеты «Правда», вынутый утром из почтового ящика, всегда лежал на рабочем столе Анатолия Федоровича Ростовцева. Видимо, дома, где жила другая, поэтическая и человеческая сущность нашего редактора, способного поэта, замечательного семьянина, отца трех дочерей, места для этого издания не находилось. Опять же, и смотрелся центральный орган рядом с кучей разнообразных бумаг, папок, карандашиков и резиночек, да еще и под неизменным портретом Владимира Ильича, довольно естественно, если не сказать — органично. Не как дома, на лакированной тумбочке под торшером.

Северная правда в своем истинном и неискаженном облике явилась мне тут же по прибытии рейсом из Москвы в магаданский аэропорт Сокол. Прилетел я ночью, а сусуманский автобус, который за 13 часов должен доставить меня к месту новой прописки, прибудет из Магадана лишь поутру. Пристроив вещи — большой чемодан с барахлом и маленький с неразлучной портативной «Москвой» — в камере хранения, огляделся и очень кстати обнаружил вывеску «Ресторан». По кремлевскому времени, по которому еще тикали мои внутренние часы, дело было к ужину. Кукольная самолетная еда давно забылась. Так что все сходилось на этой вывеске. Больше того — ресторан был открыт, и вялый официант принес меню, в котором я обнаружил жареную кету с картошкой и салат из кальмаров, был там и кофе. Что еще нужно человеку на пересылке!

Пересылкой пахнуло почти сразу, еще до кеты. Из дальнего угла полупустого зала поднялась угрюмая фигура со стаканом в руке и направилась в мою сторону. Непроизвольно перед глазами встала картина из фильма «Бриллиантовая рука»: «Приезжайте к нам на Колыму!» — «Нет, уж лучше вы к нам...» В плескавшейся на дне стакана красноватой жидкости еще на расстоянии угадывался до боли знакомый недорогой портвейн.

— Разрешите присоединиться?.. — пробурчал незнакомец в прожженном на груди потергом свитере.

Я еще разводил руками — куда, мол, денешься, а он уже сидел напротив. Высушенное морозом, изборожденное морщинами лицо как-то странно контрастировало с густой, черной, без следов седины, шевелюрой. Будто жили они при нем по отдельности, не сообразуясь друг с другом.

— Костя, Константин, — представился он и протянул твердую, узловатую длань. Моя ладошка утонула в ней с готовностью и некоторой робостью.

— Григорий, — отрекомендовался и я.

— Нормально, Григорий? — Засмеялся он, открыв полупустой, с редкими зубами рот.

— Отлично, Константин! — За ответом, как говорится, в карман лезть не пришлось.

— Угостишь убогого?

— Я себе водку заказал.

— А, не откажусь! — и вылил в рот остатки портвейна. — Залакируем!

Я заказал еще сто водки и бутерброд с соленой горбушей.

Дальше — оставалось вовремя остановиться, чтобы не прохлопать свой автобус.

— А ты с московского рейса, я тебя сразу срисовал.

— Из Питера.

— О, гнездо Романовых! Как там Гришка Романов поживает?

— У Гришки все в порядке, потому и слинял.

— Не секрет? Куда?

— Не секрет. В Ягодное.

— Ну, дак земляк! Я ж там срок сидел, недолго, правда, Виссарионыч-то вовремя подох, а то бы я всю десятку отмотал. А потом там же, на приiske, на Бурхале... несколько сезонов впахивал. В Комсомольск так и не вернулся.

Пришел официант с подносом, мы выпили.

— Политика?

— Да какая там политика! Пятьдесят девятая, три вэ, авария на автотранспорте. Хотя — политика! Пацаном я был, восемнадцать лет, месяца два, как права получил, а тут выборы, в Верховный Совет. Попал дежурным на один из участков — куда, чего, развозить господ-товарищей из выборной комиссии. Ну и где-то на двадцатом часу дежурства, а дежурили сутками, повез, а было часа четыре — ночь. Вот как сейчас. Да. И вернулся. В кювет. Товарищи вывалились, один ногу сломал, другой — под борт машины, ну, и почти сразу, на месте... ГАЗ-51, крытая была машина. Легковых не хватало. Да. А вообще-то я и работал на ней — развозил паровозную бригаду, менял бригады... За две недели все смастрячили, тогда шили быстро, ава-

рия налицо, да еще политикой, политикой-то, и усугубили. Да. Округлили, значит, до десятки. А ты кем будешь?

— Журналист.

— О, мотай на ус. Потом напишешь рассказ про Константи-на Петрова, жертву сталинских репрессий.

— Давно гуляешь?

— А неделя, как в отпуске! Все спустил! А денег — даже не скажу, сколько было, за весь промсезон! За жрачку вычли, ну, в артели в старательской, живем, едим вместе, и на — гуляй, Константин! У меня и билет был на материк, завязал бы до самолета — улетел бы, вот те крест.

— А там что? Там бы не гулял?

— Во, Григорий, в самую точку. Да. И там бы прогудел, вместе с обратным билетом. А назад как?

Я взял ему еще сто.

— А себе?

— А вот я завяжу. Мне еще в автобусе трястись, укачает...

— Уважаю. Ну, будь!

Он выпил, ему стало совсем хорошо.

— А я, ты не думай, я тоже остановиться могу. Вот сейчас спать пойду. В гостинице еще двое суток койка оплачена. Хошь — пойдем!

— Спасибо, я уж тут покантуюсь. Недолго уже.

— Ну, как хошь. А тебе спасибо. Да.

Когда мы одевались, он косо посмотрел на мой, купленный у найденного по-знакомству сторожа, серый, потертый, но некогда белый овчинный полушубок.

— То еще обмундирование... А глянь на мое!

Пальто на Константине было ладное и совсем новое: кожа с пристегивающимся мехом. Но шапка — ни к месту, какая-то замызганная солдатская ушанка.

— Фирма!

— А ты думал! Махнем?

Я деликатно промолчал.

— Ну, доплатишь тридцатку. Считаю, что даром.

— А что, махнул бы. Да где ее взять, не заработал еще...

— Ладно, обиды не держу. А за угощение спасибо. Я тебе скажу — все будет путем. Артель «Салют». Будешь мимо ехать — милости прошу!..

— Спасибо, запомню.

— А шубу все равно спущу. Для форсу взял, на материк...

Он развернулся и пошел: широкая, чуть ссутуленная кожаная спина и приляпанная сверху серая, с развязавшимися тесемками, шапка.

В колымских поселках, с их довоенными еще бараками и неспешным капитальным строительством, квартирный вопрос актуален не меньше, если не больше, чем в наших столицах. И поехали мы в Ягодное только после того, как получили от Ростовцева твердое уверение, что квартиры нас ждут, что они будут, ну, почти наверняка. Почти — оно никогда не помещает, особенно, если дальше идет наверняка. Потому что никто ничего наперед и наверняка знать не может, тем более, такой осторожный человек, как Анатолий Федорович.

Валентину с Андреем уже через день после моего приезда переселяют в «резервный фонд», в двухэтажный барак на горе, одна из верхних квартир которого отдана в распоряжение редакции и типографии. Там три комнаты: маленькая, которую дают Валентине, побольше, где недавно поселилась линотипистка Соня, и совсем маленькая, которая должна вот-вот освободиться для меня. Дверь «моей» выходит в кухоньку с парой столов и раковиной. Из единственного крана робкой струйкой течет холодная вода. Из коридорчика — вход в тесный туалет, с настоящим унитазом. Спасибо еще, что не домик на улице, где мороз колеблется от тридцати до пятидесяти. Бывает, правда, что поднимается до двадцати, это уже оттепель, дети выходят на прогулку, можно поиграть в снежки и покататься с горки.

Вечером перетаскиваем вещи, на рюкзаках отмечаем новоселье. Зовем Софью.

— Ой, я не пью. Я только символически.

— Символически — потому что не пьешь, или потому, что у вас не принято? — интересуется Валентина. Соня кореянка, приехала из Хабаровского края, но определенная «деликатность» вопроса ее не обижает, они уже не первый день знакомы и многое переговорено-перетерто.

— Да нет, просто не люблю, и все. Вот как ваш редактор, наверное.

— Это почему ты так решила?

— Ну, он такой, как бы это сказать? Застенчивый.

— Ха-ха, а ты знаешь, что в тихом омуте черти водятся?

Валька выпила, раздухарилась. Мы с Андреем покуриваем

и ухмыляемся.

— Да ну, — смущается Соня. — Да я таких вежливых еще и не встречала. Когда вышла на работу, он подошел, стал спрашивать, кто я и откуда, какой у меня стаж, и как меня по имени-отчеству. Я говорю: Соня, да и все. А ему скажи полное имя. Ну, Софьей зовите. А по отчеству у нас, у корейцев, не принято. Как, говорит, не принято? Заулыбался даже. У всех советских людей принято, а у вас не принято! Ну, ладно, говорю, тогда Дмитриевна. Теперь так и зовет: Софья Дмитриевна.

— Правильно, тебя и надо по отчеству, — смеется Валька, — ты ж у нас лучшая наборщица, передовик производства. До твоего приезда, Папа рассказывал, тут такой завал был, газету под утро подписывали...

В Советском Союзе национальный вопрос давно решен. Такова официальная трактовка. У корейца должно быть отчество, а евреем, например, лучше не быть вообще. И все люди братья. И чем глубже в тему, тем смешнее.

Ранетов сдает зарисовку о коммунисте, передовике производства из совхоза «Эльген». Спрашиваю, как новосел:

— А что значит «Эльген»?

— Как что? Совхоз. Еще там вроде сопка такая же есть. И речка.

— Но это же не русское слово?

— Нет, конечно. Может, от якутов осталось. А ты у короеда спроси.

— Короеда?

— Краевода нашего, Ростовцева. Он учитель, должен знать.

— Спасибо. Спрошу при случае. А что это у тебя там за Мударис? Тоже якут?

— Башкир.

— Тогда вопросов нет.

В зарисовке, после зачина о ведущей роли партии в отдельном взятом трудовом коллективе, идет фраза: «Как рассказал нам секретарь партийной организации совхоза Мударис Давлетшиевич Кутлушин...» Ну, Мударис и Мударис, Ранетову виднее. Не мне его переименовывать. Еврейского Сруля тоже ведь никто до сих пор не отменил. Помните анекдот? Крокодил Гена едет на велосипеде, а Чебурашка на руле сидит. «Чебурашка, слезь с руля», — просит его Гена. А тот обижается: «Я не Сруль, я

Чебурашка». И три дня с Геной не разговаривал. Понятное дело, что уж лучше Чебурашкой быть, чем Срулем. Но, с другой стороны, и дружбу народов никто пока не отменил. Сруль, Мударис и Чебурашка — братья навек!

Правлю, короче говоря, это произведение, и отношу макет второй полосы редактору. Через десять минут — гудок селектора:

— Григорий Аркадьевич, зайдите, пожалуйста.

Селектор — это отдельный разговор, гордость редактора, можно сказать — ноу хау, чудо техники и двигатель прогресса. Он гудит каждые три минуты, и вся редакция живет под напряжением этого электрического поля, в ожидании, по чьим ушам теперь ударит своим холодным воем его очередной разряд. А Папе лафа: можно сидеть весь день на стуле и без нужды никуда не бегать. Даже в экономический отдел, который дверь в дверь через коридор, причем, обе двери, как правило, открыты. Можно из кабинета в кабинет шепотом докричаться. Но он гудит. Витька Кирьяков, он же Виктор Андреевич, матерится про себя, бросает ручку, и орет со своего места: «Да иду я, иду, Анатолий Федорович!» При этом даже кнопку селектора не нажимает, так орет. Через пять минут опять гудит, Валентине... Еще через три — снова Витьке. Причем, по каждому пустяку: где запятой нет, а где буквы местами переставлены. Ну, прочти ты весь материал, а потом уже с человеком разговаривай, снимай свои бесконечные вопросы! Дай ему работать спокойно.

Меня этот селектор, простите за выражение, достает уже через неделю. Раз вызывает, два, а работы у ответственного секретаря — выше крыши: вычитать, выправить каждый материал, подобрать иллюстрации, рассчитать, «нарисовать» каждую полосу, посмотреть верстку, хвосты убрать, дыры заткнуть, и так далее. Раз, два, на третий не пошел. Он опять гудит. Я сижу. Он в третий раз. Через минуту открывает дверь:

— Григорий Аркадьевич, я вас вызывал...

— Куда?

— К себе. Вы что, гудка не слышите?

— Не слышу.

— А у вас, это, со слухом все в порядке?

— А я тоже не слышала! Может, и мне к врачу записаться? — подыгрывает мне Ольга Ивановна и, смотрю, вот-вот прыснет.

— Надо проверить. Я дверь открытой оставляю, не закры-

вайте.

Через несколько секунд гудок. Я нажимаю на «ответ» и кричу так, что слышно в бухгалтерии, в конце коридора:

— Алло, алло, это гараж?

— Вы меня слышите?

— Вот теперь слышу, — отвечаю. — Барахлит что-то, надо проверить.

— Завтра мастера вызову, — бурчит редактор и отключается.

Но через пять минут гудит снова. Я нажимаю кнопку:

— Да!

— Григорий Аркадьевич, не возражаете, если я к вам зайду?

— Милости просим, Анатолий Федорович.

Ольгу Ивановна откладывает бумаги и сидит в предвкушении, на всякий случай обхватив щеки руками.

Заходит, аккуратно прикрывает дверь, слегка краснеет, присаживаясь на свободный стул.

— Я вот что хотел спросить... — косится на Ольгу Ивановну, но та отворачивается к окну, смотрит куда-то, задумчиво, будто бы. — А вы вот про гараж, я что-то не понял. Какой гараж?

Я смотрю на него с удивлением, а потом — будто вспоминаю:

— А, гараж! Это я по аналогии, так сказать, кинофильм «Волга-Волга». Я его каждый раз вспоминаю, когда вы с экономическим отделом по селектору общаетесь.

— Почему с экономическим?

— Ну, помните, как товарищ Бывалов в гараж звонил, через двор: «Охапкин, возьмите трубку! Я буду с вами говорить по телефону. Алло! Гараж? Заложите кобылу!» А Охапкин, вроде как Виктор Андреевич, отвечает через коридор: «Какая кобыла? Кобыла расковалась!» — Ольга Ивановна, зажав рукой рот, подергивая плечом, выскакивает в коридор.

— Как-то вы резковато, Григорий Аркадьевич, на личности переходите, все-таки ленинградский интеллигент...

— Извините, Анатолий Федорович, буду марку держать.

— И вы сами посудите, вы все-таки руководитель, ответственный секретарь, сотрудники с вас должны пример брать...

Недели две после этого мой аппарат не гудел.

Однако, я несколько забежал вперед, этот разговор будет через несколько дней, а пока я иду на вызов.

Показывает мне эльгенский материал.

— Вот тут, видите, — чертит ногтем под Мударисом Давлет-

шиевичем, начиная при этом заливаться краской, — здесь, на-верное, инициалов достаточно.

— Можно инициалы оставить. А что? Человек ведь известный. — Я уже знаю, что Кутлушин — бывший заместитель редактора, пост которого ныне принял Ранетов. Кутлушин метил в свое время в редакторы, но его не утвердили, он обиделся и попросился на партийную работу. Кстати, именно кутлушинская двухкомнатная квартира предназначена мне, но пока что там живут его жена и дочь, и, кажется, не очень торопятся переезжать в Эльген.

— Да известный-то известный... — Анатолий Федорович продолжает краснеть, — но имя-то... не совсем благозвучное.

— А как же вы его в редакции звали?

— Да так и звали. — Густо краснеет. — У меня, когда впервые услышал, — почесывает малиновую лысину, — волосы встали дыбом. — Я уже откровенно хохочу, но он сдерживается, лишь уголки губ приподнимаются на лукавом лице. — Так он же еще и обижался, если кто-то его Михаилом, допустим, называл... Так и звали.

— Так вы поправите?

Он старательно зачеркивает лишние буквы и ставит жирные черные точки после букв М и Д.

— А у меня тоже вопрос, Анатолий Федорович.

Он настораживается, смотрит исподлобья, настороженно.

— А что значит — Эльген?

— Как что значит? Совхоз «Эльген». Там, между прочим, женский лагерь был, сельским хозяйством занимались, лес валяли. Известные люди сидели.

— Да я не про совхоз. Я про слово, его происхождение.

— Знаете, я как-то и задумывался, Эльген и Эльген. Тут на Колыме такие названия попадают, язык сломаешь...

От редактора иду в камеру к Высокому. При красном свете пересказываю разговор о Кутлушине. У того свои байки.

— А ты знаешь, какой у Кутлушина был литературный псевдоним?

— Ну?

— Это еще при Чукове было, прежнем редакторе, он теперь в «Магаданской правде», на повышение пошел. Так Кутлушин, когда пришел, стал свои заметки подписывать — М. Мударисов. Этот подписывает, тот вычеркивает. Ну, Мударис стал возмущаться. Чуков ему объясняет: понимаешь, не очень это удобно

по-русски звучит, придумай что-нибудь поэтичнее. А ему все равно, он и по-русски-то плохо говорил. Так он другой псевдоним придумал — по названию своего родного села, не помню уже, как, но еще похлеще. Мы ему еще раз объяснили, и он тогда Давлетшиевым стал. Так все и успокоилось.

Вовка усаживается на стул, нога на ногу, и его несет на воспоминания. Посплетничать он любит, а мне, на новенького, все интересно.

— Еще у нас Дашкевич работал, в экономическом отделе, тот белорус. Такой белобрысый, в отличие от нас, цыган, и самоуверенный — все знает! Так этот, когда говорил и писал, незаметно для себя на белорусский переходил. Машинистке принесет, та пишет, пишет, а потом, вдруг, как заорет!.. И к редактору, жаловаться...

Валентина приходит с папиросой.

— Спички есть?

— У нас не курят.

— Да ладно. Дайте прикурить, Ольга Ивановна.

— А это — если начальник разрешит. У нас геноцид. Курящих истребляют, как класс. Но избранным можно.

— Так он сам курит.

— Не могу работать в накурённом помещении. — Достая сигарету.

— Тогда и я посмолю, — соглашается Ольга Ивановна.

— Ты чего мрачная? С Кирей поцапалась?

— Вот еще! Киря в золото вникает, пошел интервью брать у главного инженера ГОКа.

— И что?

Валька молчит.

— Да ее редактор опять охмурил, видела я, как в кабинет зазывал, — подсказывает Ольга.

— Надругался, надеюсь?

Валентина закидывает ногу на ногу, смотрит в окно, рука с папиросой — на отлете.

— Если бы! Я два дня писала, триста строк, больше даже.

— Это с промкомбината?

— Ну да! Он, значит, длинный, а Папа покороче любит, это же не отчет с партконференции на три полосы!

— Так то святое дело! И что?

— Что! Много общих фраз и мало конкретики. Вы, говорит, Валентина Михайловна, как рыбка шелешпёр, все по поверхности плаваете.

— А что, красиво! Назовем это поэтическими измышлениями человека в футляре. Главное, не терять оптимизма. Папа верит в тебя, как верит в весну на Колыме, которая неотвратима, как крах капитализма, и, что бы ни случилось, придет в наши края обязательно!

— Ты что, тронулся? Мне не до шуток.

Ольга Ивановна покуривает молча, но радость на ее лице неопиcуемая.

— Да было б из-за чего переживать! Принеси, я посмотрю. Лучше послушай, как мастера пишут. Вам, Ольга Ивановна, тоже полезно приобщиться к прекрасному. Вот, страница сто пятнадцать:

Пусть снега еще всюду лежат
И ручьи забормочут не скоро,
Где-то быстрые стаи летят
К нам на север к родимым озерам.

— Что за фигня?

— Ох, и грубая ты, Валентина, женщина. Где тебе понять поэтическую натуру нашего гения?

— Ну-ка, покажи! — Валентина вырывает из моих рук небольшую голубенькую книжечку.

— В обед в книжный магазин зашел, там новый товар выбросили.

— «Бухта Лазурная», — бормочет, читая, Валентина. — Издательство «Современник»... Стихи молодых поэтов Приморского края, Сахалина, Камчатки, Магаданской и Амурской областей... — Листает с обратной стороны. — Оглавление... Так, вот Магадан... Татьяна Ачиргина, Владимир Першин, ого, Анатолий... Ого, три Папиных стиха!

— Дарю. Я две купил.

Валька вскакивает и чмокает меня в щеку.

— Весьма целомудренно, — с неприкрытым ехидством комментирует Ольга Ивановна. — Да я бы за такой подарок!..

Но Валька не слышит.

— Пойду автограф возьму. Пока тепленький. Может, сменит гнев на милость.

— А я, пожалуй, в торгконтору, у меня сигнал оттуда, надо разбираться. Больше вас окуривать не буду, Григорий Аркадьевич.

— С концами?

— Да уж на сегодня — точно!

Ее сестра звалась Татьяной... Так, кажется.

По поводу Ольги ничего сказать не могу, но фамилия нашей Татьяны тоже начинается на Л, и мне нравится этот рискованный переход от Пушкина, Онегина и Лариной, от прелестей светской жизни к нашим советским будням с нашей рулевой во главе. (Прошу прощения за оговорку. Все-таки, из песни слова не выкинешь, а там поется, что она, партия, — *наш* рулевой. Музыка Ваню Мурадели, слова Сергея Михалкова.) Заведующая отделом пропаганды и агитации райкома КПСС (в недавнем прошлом — сотрудник партийного отдела нашей газеты) по имени Татьяна будет представлять мою персону членам бюро, которым, в свою очередь, будет предложено утвердить меня в должности ответственного секретаря газеты. Видимо, эта дважды ответственная должность числится по какой-то номенклатуре, требующей соответствующих процедур. Интересно, есть ли в словаре Пушкина слово номенклатура?..

На экзекуцию, как на парад, шагаем вдвоем с Ростовцевым, одним из тех членов, которым предстоит меня утвердить и направить. Обстановка — обычная для таких заседаний: длинный стол для избранных, во главе которого первый секретарь. Олег Васильевич Денисов, при первой встрече, показался мне располагающим к себе, симпатичным во всех отношениях молодым человеком. Представителем того социализма с человеческим лицом, который мы теперь строим. Правда, в официальной обстановке расположение к собеседнику уступает место напускной суровости ко всем присутствующим, дополняемой, в минуты волнения, легким подергиванием щекой. В целом, если посмотреть со стороны и на свежий взгляд, все похоже на свадьбу — с тамадой, гостями вдоль стола и новобрачными на другом его торце, напротив тамады. Несколько в стороне — стулья для приглашенных, как место для оркестра. Разница лишь в том, что новобрачные на этой свадьбе постоянно меняются и, как правило, стоят перед гостями по стойке смирно. Для одного этот «свадебный» пяточок — стартовая площадка, с которой он взлетит в космос, или, как минимум, перескочит на хорошую должность, для другого — недолгая остановка в пути, а для тре-

тьего — лобное место. Тут может стоять новобранец, решивший, что созрел для вступления в ряды и подавший заявление, или пунцовый от стыда и досады руководитель предприятия, которому предложено отчитаться о плохо проделанной работе, или пришедший на расправу член КПСС, нарушивший партийную и прочую дисциплину. Бывают и такие, как я: кто уже давно созрел и вступил, на выговор еще не наработал, но заглянуть попросили. При этом страстей могут нагнать таких, что потом три дня петита от боргеса не отличишь.

До меня дело доходит уже после заслушивания и решения всех основных вопросов. Заведующая отделом по предложению первого секретаря оглашает мои анкетные данные, затем несколько общих слов, для порядка, говорит от себя. С Татьяной Александровной мы уже познакомились, был предварительный разговор. Мне она понравилась: изящная, обаятельная. Хотя и не красавица, но тот чуть угловатый и неуловимо-пикантный тип женщин, который нравится почему-то особо искушенным в любви мужикам. К последним, если уж быть последовательным, следует отнести и нашего Вовку-аборигена, который захаживает к Л. по вечерам, а иногда и засиживается у нее перед телевизором до утра. О такой его привычке знают в поселке, по-моему, все, но относятся к этому спокойно, как к некоей данности, а потому и без лишних сплетен. Ну, скажем, как к тому, что в нашем районе добывают золото. Или: Волга впадает в Каспийское море. А Вова имеет обыкновение смотреть телек у Тани. Чего сам Вова не скрывает. Все тихо, никто не скандалит, не пишет анонимок. А если нет анонимок и жалоб, значит, и с партийной дисциплиной полный ажур. Главный фокус, по-моему, в тех своеобразных отношениях, что сложились у нашего фотокора с его законной супругой: предложенная ситуация, судя по всему, ее так или иначе устраивает. Высокие отношения! — когда-нибудь эта фраза войдет в поговорку. И, в конце-то концов, творческий человек имеет полное право не только на жену, но и на музу. Не удивлюсь, если рано или поздно муза станет и законной супругой.

— Спасибо, садитесь, — говорит Олег Васильевич Татьяне Александровне и переходит к допросу утверждающегося.

— Вы, Григорий Аркадьевич, работаете у нас уже второй месяц. Какие впечатления, не разочаровались?

Молодец, прямо в душу! Я последние дни, читая Бурсова, только об этих впечатлениях и думал. Отвечаю честно, но, разумеется, поверхностно:

— Да нет, не разочаровался, работа интересная, новых впечатлений много.

— А почему решили приехать на Север, именно к нам?

— Однозначно ответить трудно. Причин, наверное, несколько. Одиннадцать лет проработал в одной газете, нужна была какая-то встряска, а тут — представилась возможность резко сменить обстановку, уехать на край страны. К тому же дети подросли, легче сдвинуться с места.

Кто-то спрашивает о семье. Отвечаю коротко: жена, сыну тринадцать лет, дочери — четыре.

— Кем работает жена?

— Программистом. — Члены бюро переглядываются, кивают головами: диковинная профессия.

— Семью собираетесь привозить?

— Собираюсь.

— А как с жильем? Есть, куда везти?

— Пока есть комната, шла речь о квартире. Но тут решения принимаю не я.

Дождавшись, пока другие вопросы иссякнут, свой коронный вопрос задает Лахтин, секретарь райкома по идеологии:

— От вашей работы ответственного секретаря во многом зависит не только содержание, но и лицо газеты. Оно вас удовлетворяет?

По поводу коронного вопроса есть договоренность с редактором. Он предупредил: секретарь по идеологии спросит про лицо газеты. И это лишний повод напомнить о беспорядках в типографии.

— Конечно, газетную графику надо совершенствовать. Мы об этом думаем. Но очень многое зависит от возможностей типографии. В Ленинграде большинство газет уже перешло на офсетную печать. Там и цветную газету можно делать. А тут — оборудование, по современным меркам, допотопное, часто выходит из строя, иллюстрации очень низкого качества, и при том дедовском станке, на котором нарезаются клише, ни о каком повышении качества печати говорить не приходится. Хотя что-то зависит, конечно, и от организации работы типографии. Вот сейчас пришла новая линотипистка, дело пошло быстрее, и

ошибок, правки меньше, и газету в печать стали сдавать раньше.

Мой спич на любимую тему несколько утомляет присутствующих, к тому же, все формальности уже выполнены, и дело идет к концу.

— Надолго ли к нам? — коротко и резко спрашивает Олег Васильевич и дергает щекой. К этой его особенности надо привыкнуть. Первое впечатление, что он, слушая тебя, время от времени морщится, будто чем-то недоволен. — Или тоже однозначно не ответить?

Ну, подловил! Но и мы будем стоять на своем.

— Да, однозначно не ответить, я же здесь всего месяц, пока заключил договор на три года, а дальше — жизнь покажет.

— Анатолий Федорович, хотите что-нибудь добавить?

— Да особо и нечего, — произносит порозовевший и польщенный доверием редактор органа райкома КПСС и Совета народных депутатов, — работает товарищ очень хорошо.

— У членов бюро возражения по вопросу есть? — Возражений не следует. — Утверждаем вас в должности ответственного секретаря районной газеты, поздравляем и желаем успехов в работе. До свидания.

Я благодарю за доверие и тоже прощаюсь.

В приемной встречаю мрачный взгляд ожидающего своей участи соратника по органу. На бюро остается последний вопрос: персональное дело коммуниста Кирьякова. Докатился Витька со своими возлияниями и до райкома.

— Ни пуха!

— К черту, — бурчит Витька и бредет на лобное место.

Влепили ему строгий выговор с занесением в личное дело. Обмывал или нет, не знаю.

Сдаем в набор номер к 8 марта. Редактор начинает раздваиваться. С одной стороны — номер ответственный, с другой — заседание бюро и, судя по повестке, на весь день. Доверяет мне в его отсутствие вычитать оставшиеся материалы, сдать полосы в набор и проследить за версткой. Верстка у нас ручная: гранки — столбцы набранных на формат и отлитых на линотипе строк, клише, нарезанные на металле в типографии и пластмассовые, присланные по почте из ТАСС и АПН, разнообразный пробельный материал. Еще в ходу старинное красивое слово метранпаж — это человек, который складывает — верстает в специальной раме — из металлических гранок и клише, словно из кубиков, полосу будущей газеты, читая ее в зеркальном изображении. Всю правку, в конечном итоге, колдуя над рамой, тоже вносит метранпаж, и касается это не только замены строк с ошибками или целых материалов, но и всего, что меняется на полосе в процессе редакционной правки: заголовков, отбивок, линеек, клише с подписями к ним и так далее. Чем больше правки, тем больше работы у верстальщика. Понятно поэтому, что между нашим привередливым редактором и метранпажем — Анной Федоровной отношения натянуты до предела. Я оказываюсь между ними, а по существу — между редакцией и типографией некой прослойкой, промокашкой для крови и слез после бескомпромиссных сражений. Поскольку теперь с полиграфистами общаюсь в основном я, в прошлом тоже полиграфист, сражений стало меньше, а компромиссов больше. Достигается это простым способом: с людьми нужно уметь поговорить по душам, в том числе и на отвлеченные, даже на личные темы, вместе искать устраивающие обе стороны решения, а не только требовать, настаивать и насмерть стоять на своем.

Редактор уходит, но в перерывах звонит.

— Григорий Аркадьевич, там у нас заметка идет на третью полосу про срез кочки, проследите, ее надо обязательно поставить. Сегодня обсуждали, надо посерьезней нам отражать все, что относится к сенокосу...

Следующий звонок.

— Вы вторую полосу сдали?
— Уже на верстке.
— А третью?
— Еще сижу.
— Тут как раз сейчас про восьмое марта речь шла, я про этих, кочегаров, вспомнил, вы посмотрите-ка, все-таки, что-нибудь на замену...

Про кочегаров — отдельная история. Накануне Валентина принесла редактору, как подарок в праздничный номер, репортаж из бригады, в которой трудятся женщины-кочегары. Откопала, новаторша наша, актуальный материал. Я тут же стою: не иначе, специально при мне зашла. Папа ейный берет эти машинописные листки так, словно они сажей испачканы. «Берет — как бомбу, берет — как ежа». Морщится:

— Кочегары... Праздничный же все-таки номер. Куда-то вас, Валентина Михайловна, все на декадентство тянет.

— Так, Анатолий Федорович, я же вам вчера говорила, вы согласились.

— Вчера? Значит, я не врубился.

— Ой, Анатолий Федорович, это вы откуда такие слова берете?! У Григория Аркадьевича научились? Никогда от вас такого не слышала.

Редактор, по обыкновению, начинает краснеть.

— Ну, почему у Григория Аркадьевича? Да я, между прочим, на Чукотке еще матерых заключенных застал, уголовников, которые при Сталине сидели. И на Теньке потом, тоже...

На самом-то деле — Валентина попала в точку. Днем раньше у нас с редактором вышел спор по поводу двоеточия, которое я поправил на тире. После долгой филологической дискуссии, которая стала мне порядком надоедать, я махнул рукой: в конце концов — что тире, что двоеточие, в данном контексте ничего не меняется. Каждому важно принцип выдержать.

— Кажется, вы меня убедили, Анатолий Федорович, — сказал я, — двоеточие лучше. Извините, сразу не врубился.

— А надо, это, врубаться, Григорий Аркадьевич, и сомневаться почаще, с товарищами советоваться. Есть ведь у нас в редакции люди и грамоте обученные, не только пьяницы...

Очередной звонок из райкома, уже после обеда.

— Как там дела с версткой?

Теперь я иду в атаку:

— Да все нормально, Анатолий Федорович. А вы, кстати, знаете, что завтра-послезавтра на озеро Джека Лондона, на метеостанцию, вертолет летит?

— Ну, знаю, на выборá летит. И что?

— Как что? Можно хороший репортаж сделать. Я бы слетал.

— А у вас теплая обувь есть?

— У меня сапоги теплые.

— Так что, хотите лететь?

— Вы же знаете, я люблю всякие авантюры.

— Это не авантюра, это выборá!

— Ну, я не в том смысле, что... выборы, а в том, что всякую экзотику люблю, новые места поглядеть.

— Тогда так и назовем: не авантюрой, а экзотикой. Я тут у товарищей поинтересуюсь...

Однако, с полетом что-то не складывается, и на озере Джека Лондона, которое считается красивейшем местом на Колыме, я побываю только летом, зато в самую подходящую для этого пору.

Из райкома редактор возвращается уже в седьмом часу. Мы втроем, я, Валентина и Ранетов, уже стоим на выходе, собираемся закрывать редакцию.

— Ну ладно, — бормочет он, — я бы еще поработал, да надо в Дом культуры идти, на торжественное.

— А вы, Анатолий Федорович, я смотрю, везде ходите, как свадебный генерал, — пользуясь тем, что рабочий день закончился, нахально заявляет Валентина. — Ой, забыла, вы же член бюро!

Чуть покраснев, член бюро отвечает со смущенной улыбкой:

— Какие дерзкие выпады, Валентина Михайловна, вы себе позволяете... Я иду потому, что там моя дочка танцует.

— Наташка?

— Да. А Айнана поет. А Ира Ранетова юбку связала. Это ваша, Виктор Алексеевич, или однофамилица?

— Моя. Только я сейчас иду за сыном, в садик.

— А вы, Валентина Михайловна?

— Нет, Анатолий Федорович, я в школу, на сбор.

— Какой сбор?

— А перед пионерами буду выступать, рассказывать, как я в университете военную подготовку проходила.

— Хм... Зря не идете. Люди за билеты дрались... Вроде, книжки там какие-то должны давать... Хотя, кто его знает?

Наутро редактор отыгрывается за свой «прогул». Первым делом удивляется, когда я, еще в десятом часу, приношу ему все три (первая еще в наборе) сверстанные полосы. Бурчит что-то под нос, что уж больно скоро, и что как-то это все подозрительно... Через десять минут в бешеном ритме начинаются селекторные гудки с последующими нотациями.

— Плохо вычитываете, Григорий Аркадьевич. Вы эти материалы сколько раз читали?

— По разу, некоторые по два.

— Вот видите, столько раз правили, а все ошибки лезут. Нет у вас цепкости. Вот здесь, почему запятой нет?

— А она здесь и не нужна.

— Как же не нужна? Сложносочиненное предложение, это каждый четвероклассник знает. Надо, значит, по два раза читать... А вот здесь: вы что, не знаете, что призеров ВДНХ не бывает, бывают либо участники, либо медалисты.

— Если я буду все рукописи по два раза читать, я и до утра газету не сдам.

— Не знаю, надо успевать...

Наконец, сверстали первую. Приходит ко мне, полоса вся исчеркана.

— А почему эти заметки так стоят? Может быть, переставим их местами?

— Переставим. — Я уже не способен отвечать подробно и аргументированно.

— Заголовок этот, вам не кажется, слишком крупный?

— Давайте переберем.

— И потом, посмотрите, сколько шрифтов на одной полосе: раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь? Можно максимум три.

Я уже, было, открываю рот, чтобы поинтересоваться, кто это разрешил только по три, как вдруг вижу в подписи под тассовой отсутствующую перед словом ТАСС скобку.

— А вот тут скобки не хватает. Как же вы не заметили?

Папа ужасно смущается, краснеет. Строкомером, зажатым в ладони, как расческой, пытается зачесать назад остатки рыжеватых волос.

— Да, скобка, смотри, и никто не заметил... Да...

— И еще я хотел вас спросить. — Он поднимает глаза, смотрит настороженно. — А почему вы говорите «выборá» и «срез кочкú»?

— Ну, так ведь все так говорят.

— Все — они филфаков не кончали. Тут только трое таких: вы, я, да Андрей.

— Какой Андрей?

— Да знаете, какой. Валентинин муж, французское отделение. Но он бы никогда не сказал: выборá.

— Так ведь это сленг. Говорят же моряки «компáс, кóрма», горняки — «дóбьгча».

— Это они между собой так говорят. А мы же с вами не скажем.

— И как же тогда говорить прикажете?

— Как? Да просто: выборы, срез кочек.

— Как-то не звучит. Да и народ не поймет, зачем же нам выделяться?

— Ну, вы говорите, как хотите, а в газете я этот срез кочкú буду править...

После подобных демаршей он обычно оставляет меня на некоторое время в покое. Однако, далеко не все его волнения позади. Его ждет еще и маленькое приключение в типографии, о котором, когда я отношу очередные материалы в набор, взахлеб рассказывает Соня. Остальные — директриса, печатница, метранпаж и наладчик Гена — стоят рядом и хохочут.

Я уже упоминал, кажется, что расположен наш редакционно-полиграфический синдикат в одноэтажном бараке. Слева от «парадного» входа — дверь в типографию, справа — в редакцию. Туалет на всех один — в самом дальнем углу типографии, то есть, нам, по дороге туда, надо пройти мимо печатниц, метранпажа и линотиписток, то есть, через все участки, включая кабинет директора, куда дверь обычно открыта.

Анатолий же Федорович имеет привычку все свое, в данном случае — строкомер, носить с собой. Куда бы ни пошел — в бухгалтерию, в корректорскую, в экономический отдел, — линейка всегда в кулаке. И вот, рассказывает Софья Дмитриевна, выходит он из уборной и идет через типографию, со строкомером, естественно. А печатница, Алла Васильевна, едкая тетка, не выдерживает и спрашивает:

— А что это вы там, Анатолий Федорович, все измеряете? Как не идете, все строкомер в руках.

— Да, привычка, знаете, — смущаясь и ужасно краснея, отвечает отец троих детей, — почему-то везде с ним хожу...

Я смеюсь вместе с типографскими, а про себя думаю: как

же теперь наш мнительный и осторожный редактор будет ходить по делам?

Однако, пришло время, наконец, пояснить, что это за штука такая — строкомер. Прежде всего — вещь эта хоть и простая, но ценная. В магазинах не продается, и каждый обладатель строкомера бережет свой, как зеницу ока. А представляет он собой тридцатисантиметровую металлическую линейку, на которую, кроме миллиметров, нанесены деления полиграфических шрифтов разных кеглей: петит, корпус, нонпарель и циперо. При макетировании и верстке газеты без этой линейки — как без рук. У меня тоже своя, привезенная из Питера.

Существует такое понятие: зов Севера. Пожил, поработал там несколько лет, или десятилетий, и потом все оставшиеся годы живешь воспоминаниями. И за чем бы ты ни ехал, за деньгами или за романтикой, все равно потом будет щемить, до последних дней. И чуть что — будешь вспоминать всякие случаи, натываясь на злорадный отпор близких: что тебе, в жизни, больше вспомнить не о чем? Впрочем, я на Севере — считанные недели, еще не защемился, меня пока интересует другой вопрос: зачем или как приезжают люди сюда, отрываясь от привычной удобной жизни, от своих корней, нередко — в одиночку, оставляя семью на материке? Конечно, спрашивать о таком человека в лоб неудобно, да и глупо. Какая-то устная анкета получится, а анкет у нас не любят. Другое дело — в теплой компании, под рюмочку, там и спрашивать не надо, потому что, когда по душам, каждый сам спешит выразить себя и что-то глубоко упрятанное обнажить. Говорят, лучшее место для таких разговоров — купе поезда. Поговорили и разъехались. Или гостиница. Поезда по Колыме не ходят, остаются гостиницы. Немало разговоров было в первые дни, пока жил в «Центральной». Теперь — Синегорье.

Редакторское «Побываете еще...» скоро аукнулось. Конечно, Анатолию Федоровичу, для которого этот молодой поселок (свое название он получил в 1967 году) — чуть ли не вторая родина, и самому не терпелось отправить меня туда, на стройку Колымской ГЭС, в машинный зал которой, полностью вырубленный в скалах, можно якобы впихнуть целый Исаакиевский собор.

И опять автобус, колымская трасса, белые снега и черные спички-лиственницы по склонам сопок, у поселка Дебин поворот — и сорок километров до поселка и ГЭС, сооружаемой на левом берегу Колымы, чуть ниже Больших Колымских порогов. Названием своим поселок обязан не геологам, а популярной в те годы книге ягоднинско-магаданской писательницы Ольги Гуссаковской «Ищу страну Синегорию». В районе, кстати, есть еще одно наименование, обязанное литературе: озеро Джека Лондона, куда зимой, «на выборá», например, только вертолетом можно долететь.

Приезжаю к вечеру. Суббота, в гостинице «Синегорье» полно народа. Мой номер: 413. Когда-нибудь на его двери будет висеть памятная доска: здесь был Гриша. А пока — первые впечатления. Поскольку поселок молодой, здесь практически нет бараков и балков, все из камня и бетона. И воздух здесь какой-то чистый и ясный, без примеси лагерной копоти, без призраков прошлого, без доживающих свой век бичей — теней человека нынешнего. На материке людей без адреса зовут бомжами — человеками без определенного места жительства. Здесь все по-другому. Спрашиваю у одного, другого, третьего: почему бич, что значит бич? Пока все сводится к двум версиям. Первая: бывший интеллигентный человек. Опустившийся, значит. Может быть, сам спился, разочаровавшись в жизни, а может — добрые люди помогли опуститься на дно социальной лестницы. Бичами можно было бы назвать Актера, и даже Барона, персонажей пьесы Горького «На дне». Другая версия — из английского морского жаргона: матрос, списанный на берег. А невостробованный матрос — уже и не моряк, а только бывший моряк, со случайными заработками днем и портовыми кабаками ночью. Жизнь — копейка.

После «Центральной» в Ягодном, по сути — большого барака, в «Синегорье» чувствуешь себя не хуже, чем в любом приличном городе. Почему-то вспоминаю первого встреченного синегорца — Колю, взрывника с Колымской ГЭС, с которым выпивали малость в ягоднинской гостинице. Приехал из Нурека, с тамошней станции. На столе в номере — роман Алексея Толстого «Петр Первый». И песня под гитару: «Сопки синие вокруг, небо синее...» Спросил у него, после третьей, про зов Севера, но у Коли нет ответа на мой вопрос. Построит одну ГЭС, поедет строить другую. Такая профессия, такая жизнь. Вот и весь ответ. А у Мыколы — есть. Мыкола, сосед Коли по номеру, приехал заработать денег, и побольше. Тезки пьют из одинаковых гостиничных стаканов, но друг друга не понимают. Но вовсе не потому, что один русский, другой хохол. Коля тоже оттуда, с Донбасса: здесь, в горнодобывающих районах Колымы, да и Чукотки, очень много народа из шахтерских мест, с Украины и с юга России. Разделяет Николаев нечто духовное, вложенное каждому в сознание разными, противоположными по сути своей, началами. Откуда что берется, не знаю: из среды, из семьи, из воздуха, из земли, из пейзажа за окном дома, в кото-

ром родился. Астролог, тот бы все легко объяснил: знак Воздуха, знак Земли и положение планет...

Мыкола про сопки синие не понимает. Интеллект на уровне, да простит меня Эдуард Успенский, «карты, шашки, домино». Но не те шашки, где проходят всякими хитроумными способами в дамки, а те, где фигуры ставятся двумя рядами по краям доски, а игроки по очереди щелбанами выбивают шашки противника. Мыкола экономит на всем, с недавнего времени, похвастался, даже на комсомольских взносах. Трудится он гарно, по двенадцать часов в день, бульдозеристом в старательской артели, зарабатывает до 800 рублей в месяц. Год — на машину наработал, еще пару лет — на хату кирпичную в два этажа. «Рыба ищет, где глубже, ха-ха-ха!», — смеется Мыкола и добавляет: «Я рыбу люблю!» И мы с Колей его не осуждаем. Мы тоже знаем цену деньгам, тоже не прочь хорошо заработать, но как-то так, не наперекор всему, а попутно, в том числе...

Номер 413 — двухместный. Появившийся вскоре после моего приземления сосед, веселый кудрявый парень, без церемоний протягивает руку:

— Жак! — и смотрит философски, интересуюсь реакцией. Ну да, он из Одессы, здарсьте. — Можете просто — Женя.

Приехал с друзьями из Спорного, на пару дней, отдохнуть и погудеть в кабаке. Следом появляется друг Жака, Вася. Он из Кривого Рога. Оба работают на авторемонтном заводе. Ребята молодые, нет и тридцати. Сразу начинаются посиделки, на столе нарисовывается бутылка, а там и песни, а где песни, там и девушки.

Жак все время мелькает. Зайдет, выпьет, похрустит огурцом и опять исчезает.

— Подработку ищет, — загадочно говорит Вася, когда дверь за Жаком в очередной раз захлопывается. — Жена на материке, ждет, когда он с мешком денег приедет. А ему здесь нравится, и мотается каждый год в отпуск.

Мы уже давно на ты.

— А тебя, Вася, как сюда занесло?

— Да я еще пацаном был, школу кончил. Дружок дворовый заманил, в отпуск приезжал. Говорит: заканчивай курсы сварщиков, я тебе вызов организую, место в общежитии, будешь хорошие деньги зарабатывать. А у меня ж мечта: купить хороший

инструмент, ну, гитару, а это две — две с половиной штуки, да аппарат к ней — еще две. И найти место в кабаке. А что? Четыре часа песен, пятьсот рублей.

— И как она, мечта?

— Ну как? Я сюда не успел приехать, деваху встретил, красавица! Наташка. Женился, двое детей. Так они с тещей — ни в какую! Хочешь играть, говорят, ткнишь в областную филармонию, может, в какой ансамбль возьмут. А что такое филармония? Сами взвоют. Жизнь в автобусе: сегодня один поселок, завтра другой... Прощай, семья!

— Кабак-то не каждый осилит... Сам знаешь...

— Вот и они: сопьешься, Васька. Ну, вот мы вчера в кабаке сидели. Они же играть не умеют, козлы! А талантливые музыканты пропадают...

Да, не светит Васе ресторан. А что делать? Уже ведь и гитара японская куплена, за две с половиной. И вразнос не пойдешь: жену, детей любит.

— Она меня отпускает — с мужиками проветриться, знает, что кроме нее, мне не надо никого. Мы, кстати, — оживляется Вася, — с Жаком-то играли в клубе, классно! А потом у них что-то случилось, оркестр отменили. Теперь там дискотека: танцы под магнитофон. Так молодежь туда не идет. А что? Слушать одно и то же. Мы вот думаем: летом, прямо на улице играть...

Мечты Василия прерывает Жак. На этот раз он не один.

— Татьяна Владимировна! — церемонно объявляет Жак. — Педагог из Ленинграда! — и подмигивает мне из-за спины педагога. После чего косит глазом на дородный бюст.

На Тане свободное синее платье. Садится на галантно подставленный стул, выпиваем за знакомство.

— Жак сказал, вы из Ленинграда?

— Месяц, как из отпуска.

Таня из Новгорода, приехала в Питер, в герценовский, поступила на географический факультет, жила в общежитии. Конечно, хотела зацепиться за Ленинград. И даже вышла замуж. Год прожили — все хорошо. А перед самым распределением — коса на камень. Свекровь что-то обидное брякнула, с намеком на прописку. Вспылила, пошла в деканат и попросилась куда-нибудь подальше, «хоть на Колыму!», и вот она тут, третий год работает в синегорской школе. А муж с тещей остался. Вот

так: 24 года, а за плечами уже судьба.

В районе у Тани уже много знакомых, таких же молодых учительниц из больших и малых поселков. Знакомятся на совещаниях, потом ездят друг к другу в гости. В гостиницу пришла к двум подружкам из Оротукана. Те гуляют в номере этажом ниже.

— Веди их к нам! — говорит Вася. — А я пойду гитару поищу. Танцы будут!

Вася с Таней поднимаются, и тут же, следом, Жак. Делает мне жест ладонью:

— Я ее — ща! В душе!

Не знаю, случилось ли у них что-то в душе, но минут через пятнадцать появляются втроем — с Ларисой. Короткая черная стрижка, стройная, красный комбинезончик в обтяжку. Присела на краешек стула, пить отказывается. На сегодня хватит, печень не принимает. Девушка, в отличие от Татьяны, с претензией. Спину держит прямо. Но вижу, что сидит, как на иголках. Потом, когда ушла, выяснилось, что выдернули ее из компании, а пришла, чтобы посмотреть на меня — заезжего журналиста. Почти в музей. Побывала, стрельнула несколько раз крепко накрашенными черными глазками, и растворилась.

Гитары Василий так и не нашел. Расстроенный, уходит к себе. И Татьяна куда-то пропала. Гляжу на часы — а дело-то уже к полуночи. Хоть завтра и воскресенье, в гостинице свои правила.

— Ну что, Жак, отбой?

— Ты погоди. — Он показывает глазами на наш опустевший стол. — Надо бы еще по чуть-чуть, залакировать. Я щас! Пять минут.

Приходит Жак в восемь утра — за своим тулупом.

— Ну, пока, друг! Мы на автобус, следующий только завтра. У нас будешь — заходи...

В одиннадцатом часу, когда я умываюсь, стук в дверь. На пороге крепко сбита бабенция лет тридцати.

— А Женя здесь живет?..

Пришлось ее огорчить.

Банкет банкетом, но утром — ранний подъем. В 8-30 меня забирает узик главного инженера «Гидроспецстроя», одной из ведущих организаций на Всесоюзной ударной комсомольской стройке. Присказка о Всесоюзной не только сама по себе звучит красиво, но и дает строителям ряд привилегий по сравнению с коллегами, возводящими не ударные и не комсомольские объекты.

Едем на основные сооружения, но не коротким, а каким-то обходным, экскурсионным путем, позволяющим оценить грандиозность сооружаемой ГЭС во всем ее величии. Путь этот занимает почти полтора часа. Сначала на гору, потом внутрь, по тоннелям и будущим водоводам — в тот самый машинный зал, в котором должен, по расчетам Ростовцева, поместиться Исаакиевский собор. Впечатление действительно потрясающее, особенно, если представить себе, что эта гигантская полость еще несколько лет назад была прочным монолитом. И работы продолжают. Записываю в блокнот цифру: план «Гидроспецстроя» на 1984 год — 1 миллион 500 тысяч кубометров скальной породы. Первый взгляд на машинный зал — сверху, почти изпод свода, как с крыши многоэтажного дома: внизу, в ряд, два новеньких ярко-красных агрегата, как мне объясняют, уже стоящих под промышленной нагрузкой, и третий, который еще монтируют. Всего их будет пять.

Обедаем там же, на стройке, потом меня доставляют в управление. Встреча с бригадиром ударной бригады Владимиром Долговым (ударной во всех смыслах, потому что руководит он бригадой взрывников) — получится если не очерк, то емкая по материалу зарисовка, главная тема — модный ныне бригадный подряд, освоение которого позволяет повисить производительность труда, увеличить объемы работ. А объемы у бригады исчисляются кубометрами подорванного грунта. Причем, подорванного с умом, с точным расчетом, а еще, как мне представлялось, с постоянным риском для жизни. Мол, взрывник — тот же сапер, и всякие прочие журналистские домыслы. Но тут вышла осечка. Выслушав мой вопрос о риске и опасностях, Владимир

Петрович разводит руками, словно извиняется:

— Да нет, никаких таких происшествий за мою биографию не случалась.

Его рабочая биография — за четверть века, хотя самому — сорок два. Еще минуту молчит, вызывая к памяти: вдруг что-то забыл.

— Нет, не было. — И дальше, с уверенностью, отбросив сомнения: — Да и быть не должно. Хотя — работа, конечно, небезопасная. Взрыв, он взрыв и есть. Но если все по правилам — будет порядок. И потом — на этой работе случайных людей быть не может. У нас и учеников не бывает. Тут, как шоферу, специальные права иметь надо — специалиста широкого профиля. Взрывник обязан уметь все: монтаж, зарядку, взрыв. И силушка нужна — мы же сами себе и грузчики.

Замечательный и красивый мужик. Самый что ни на есть «наш современник», образ которого уже много лет ищут и никак не могут отыскать наши писатели, разрабатывающие глубины социалистического реализма. *Других писателей*, как известно, у нас нет.

Старая игра: встречая человека впервые, часто находишь в нем что-то знакомое — в разговоре, в интонациях, в тембре голоса и, конечно же, во внешности, и начинаешь гадать, чьим родным братом он может быть: добрейшего Зиновия Гердта или мерзавца Джугашвили (на последнего, кстати, поразительно похож один мой знакомый геолог, которого и зовут даже Иосифом Виссарионовичем, только фамилия у него другая, и человек он настоящий, как Мересьев). Долгов внешне чем-то похож на известного певца Юрия Гуляева, который поет песни Пахмутовой про летчиков и космонавтов. «Самая высокая мечта — высота, вы-со-та».

Как только мы расстаемся, записываю в блокнот ударную фразу, которой можно будет закончить очерк о бригадире-ударнике и коммунисте:

«Я не знаю, поет ли Долгов. Забыл спросить. Но, по-моему, не петь он просто не может». И приписка: «Обязательно — фото! Заслать В.В.»...

Приехал долгожданный Александр Михайлович Бирюков. А я так и не успел ничего прочесть из него, кроме нескольких рассказов. Важно другое — эти несколько мне понравились, и если зайдет соответствующий разговор — не придется кривить душой и произносить дежурные и неискренние слова. Первое впечатление: человек симпатичный, располагающий к себе, но дистанцию держит. Думаю, преодолеть ее не просто.

(Забегая вперед, могу сказать, что мне это некоторым образом удалось, и впоследствии, бывая в Магадане, я не однажды останавливался на постой не в гостиницах, а у Александра Михайловича дома, у него и его симпатичной жены, доцента педагогического института. Еще у них был умный сын отроческого возраста и шикарный рыжий кот, который питался исключительно красной рыбой горячего копчения, продававшейся в те годы в «столице Колымского края» без ограничений. В кавычках — цитата из «Ванинского порта», народной лагерной песни.

Всякий раз, когда мы виделись в Магадане, заходил разговор о «короле русского романа» Вадиме Алексеевиче Козине, который доживал свой век в ставшей музеем при живом постояльце однокомнатной квартирке. Бирюков дружил с ним много лет, водил к забытому певцу гостей, он даже показал мне личное дело Козина 40-х годов, которое, будучи завлитом местного театра, откопал где-то в подвальном хранилище и забрал себе. Посаженный в 44-м году на восемь лет «по совокупности статей», в приговорах совокупляемых нечасто — «за антисоветскую агитацию, развращение несовершеннолетних и мужеложство», причем, предыстория этого приговора так и осталась покрытой мраком, — Козин отбывал наказание, работая артистом Магаданского музыкально-драматического театра. Потом, в 59-м, его осудят еще раз.

Так вот: всякий раз мы собирались с Александром Михайловичем «в гости Козину», и всякий раз что-то не складывалось. То старик плохо себя чувствовал, то у меня не хватало времени... Так я у него и не побывал, о чем, конечно, жалею. Большая удача — пообщаться с таким, без преувеличений, легендар-

ным человеком. И написать о нем хотя бы для своей газеты. Хотя не уверен, что у нашего редактора хватило бы смелости поставить такое интервью. Однако, если честно сказать, особо на эту встречу я и не рвался. Останавливало некое деликатное обстоятельство, на которое, может быть, сам Козин, одинокий и нуждающийся в общении старик, давно махнул рукой: была, казалось мне, какая-то заведомая фальшь в том, что идешь к живому человеку, как к музейному экспонату, и оба мы это понимаем, но делаем вид, что общаемся не формально, а от души.)

А пока — выступление в Доме культуры, в малом зале. «По протоколу» — встреча с книголюбями. Еще два встречи были днем: в средней школе и с «работниками культуры». Народа не много, только настоящие любители литературы и поклонники автора. Александр Михайлович читает отрывки из романа, который еще не закончен, отвечает на вопросы, говорит о впечатлениях от поездки по Колымской трассе, сравнивая с тем, что было двадцать лет назад и явно ностальгируя. По дороге к нам заезжал в несколько поселков, выступал там в библиотеках. А если бы напрямую — полетел бы, конечно, на Ан-24 до Синегорья, откуда до нас — рукой подать, пара часов на машине или автобусе.

После выступления идем в наш барак отмечать событие. Валентина накрывает то, что можно назвать столом. Сидим, как обычно, кто на чем. Для именитого гостя приношу свою табуретку. Говорим обо всем, о наших делах, о том, зачем мы сюда приехали, о магаданских писателях и разных новостях. Валя с Андреем поют под гитару. Александр Михайловичу, давно привыкшему жить в комфортных городских условиях, наша обстановка, тем не менее, нравится. Когда-то сотрудник, а потом и редактор «Магаданского комсомольца», он изрядно поездил по Колыме и Чукотке, много суток провел в ожидании самолетов, пожил в самых невероятных условиях — от чукотской яранги до захудалой гостиницы, — и теперь продолжает ностальгические воспоминания, которые всколыхнула командировка и которые уходят на второй план в городской суете и являются на волю разве что в таких вот поездках, да за письменным столом.

Днем, когда Бирюков заходил в редакцию пообщаться с Ростовцевым и попить чайку, я отдал ему, по наущению Валентины, несколько небольших рассказов. Скупой на похвалы, он на-

ходит для них добрые слова. И уже в хорошем подпитии, когда заходит речь о моих перспективах, он говорит вдруг ужасную вещь: чтобы в Магаданском издательстве вышла первая книга, должно пройти хотя бы пять лет. Такова жизнь. Хотя бы пять! А я-то на что рассчитывал?

Валентина от этой новости и вовсе впадает в истерику. Она плачет, что-то бормочет, садится рядом, чуть ли не ко мне на колени, и обнимает меня при всех, и при Андрее, который отводит глаза, и становится очевидной наша близость, которая на людях никогда и ни в чем не проявлялась, и я не знаю, как ее успокоить и как помочь унять эти рыдания, вытираю слезы и глажу по голове. Не знаю, чем бы это все закончилось, если бы не вмешался наш гость, который предложил тост за творчество и за будущую книгу...

Книга эта, к слову сказать, пролежала в издательстве все те самые пять лет, пока я работал на Севере, но так и не вышла в свет, хотя рассказы из нее, наряду со «взрослыми» рассказами, печатались во многих журналах и сборниках, в том числе и в магаданском альманахе «На Севере Дальнем», и остаются востребованными и теперь, тридцать лет спустя.

Лошадиная фамилия

Сто лет спустя

— Ага, ага, вот и вы. Давно жду. Есть хорошие новости, товарищ Мышкин.

— Мышкин? Разве я?..

— Ах, простите, простите, это, знаете, у нас бывает, так-так, работа, понимаете, сотни рукописей, тысячи имен, да, ага, вот: Мишкин. Так вот, товарищ Мишкин...

— Я? Мишкин? Вы меня опять с кем-то...

— Как? Это разве не ваша рукопись?

— Насколько я помню...

— Ну, вспоминайте, вспоминайте. Повесть «На секретном полигоне». Ведь ваша, признайтесь?

— Нет. Моя, то есть мой рассказ — «На перекладных».

— На чем, простите?

— На перекладных. На лошадаках.

— Эх же вас занесло! В наше-то время. Но что поделаешь, я ведь тоже помню, читал, как же, извозчики, двуколки всякие, кабриолеты, как их там, сейчас мы вас в картотеке, таак, а вот и вы, № 1568. Ага, так и есть: «На перекладных». Ну что ты будешь делать! Таак, а-а, ну как же, как же, читал. Читал, читал, читал. Ничего, знаете...

— Хорошего?

— Ну, почему же? Вообще — ничего. Да, вот тут, кое-какие замечания. Ага, вот. Главный герой у вас есть. Это хорошо. Но фамилия у него. М-да...

— А что: неприличная разве?

— Да нет, что вы. Но — лошадиная какая-то, знаете.

— Но это ведь бывает. Овсов, например. В классике было.

— Так то Овсов! Коротко и ясно. Без намеков. А у вас что? Кобылянский!

— Я хотел — свежо...

— А вышло? Что? Молчите? Потому что сами не знаете, что вышло. Кобылянский и вышел. А смысл в нем какой? Ведь фамилия, это, знаете, не просто так. В ней смысл, нагрузка. А у вас что? Кобылянский. Кто он там у вас, кем работает?

— Конюхом.

— Значит, сразу и Кобылянский! А почему не Жеребцов, скажем? Звучнее все-таки.

— Он скромный конюх.

— Ну, тогда Лошаков, Лошадинин, Лошкарев!

— Лошкарев — это ближе к ложкам. А у меня конюх.

— Ну, хорошо, конюх. А где вы видели живого конюха? Уж если беретесь за деревенскую тему, а тем более за лошадиную, за конюха, — надо натуру изучить. Почитать что-нибудь, в деревню, наконец, съездить на денек-другой.

— Да я только год, как в городе.

— Тем более должны знать. Ведь если бы лошадь от кобылы ничем не отличалась... Вы вдумайтесь: лошадь — это вообще лошадь. Животное такое, млекопитающее. А кобыла — это уже обязательно самка. Или жеребца возьмите. Чем он от мерина отличается? Знаете? Вижу, что знаете, только чего же краснеть, ничего в этом особенного, житейское. И носи ваш герой, скажем, фамилию Меринов — тогда другое

дело! Я бы вас конкретно спросил: на что намекаете?

— А сейчас разве не спрашиваете?

— Спрашиваю. Но тогда я бы понимал, в чем дело и куда вы со своей фамилией клоните...

— Это, извините, не моя фамилия.

— Да я не про вас, а про героя вашего. Да. А тут не ясно. Почему он Кобылянский? Ведь кобыла, я уже говорил, и вы со мной согласились, она самка. А ваш конюх — мужчина, если я не ошибаюсь. Или ошибаюсь?

— Нет-нет, мужчина, конечно. Как же...

— Так и надо его мужчиной сделать. Мужества прибавить. Конягин, скажем. А?

— Нет, Конягина нельзя.

— А по-моему, прекрасно: конюх Конягин! А?

— Хорошо, конечно, но нельзя.

— Да почему же нельзя?!

— Я потому что сам — Конягин.

— Вы?

— А что, не похож?

— Ага, начинаю понимать. Так значит, и вы — Конягин?

— И я.

— Да, ситуация. И зачем вы с этим конюхом связались? Написали бы про токаря, фрезеровщика. Фрезеровщик Токарев! Как звучит! А?

— Я попробую. Только конюха-то куда же? Он ведь тоже — человек. Это он потому только конюх, что при лошадах.

— Да я понимаю, понимаю. То, что конюх, и все такое... Только вот фамилия эта ваша. Кобылянский! Звука, претензии много. А — конюх.

— Ну и что? У нас ведь все профессии важны.

— Важны-то важны, но где масштаб, обобщение? Ну что в вашем конюхе такого, замечательного? Он хоть норму выработки у вас выполняет?

— Он у меня передовик, и ударник.

— Вот видите: это уже кое-что. Или, может быть, его лошади призы на скачках брали?

— Брали. Но только один раз. Он ведь молодой еще.

— Молодой, говорите? Значит, гармонист!

— Гармонист.

— Значит, девушки за ним табуном, а одна — больше всех нравится. То, что ударник — не страшно. Это можно допустить. Без секса, конечно. Чтобы, значит, до свадьбы — ни-ни. А? Что же вы молчите? Что с вами?

— Не со мной, с конюхом. С Кобылянским.

— Ну и что с ним случилось?

— Так он того...

— Кого того?

— Да девушку-то эту, Нюру. До свадьбы, то есть...

— Ай-яй-яй, а вот это нехорошо. Придется вам его на собрании проработать. Он ведь ее обмануть может! Бросит, да еще с двойней, если как следует размахнуться.

— Не бросит. Они в конце все равно поженятся.

— Ну, это, конечно, меняет дело. Значит, собрания не будет, будет свадьба. Но, простите, чью же фамилию возьмет Нюра?

— Мужа, конечно.

— Значит, после свадьбы у вас уже двое Кобылянских?

— Нет, после свадьбы — шестеро.

— Как, и дети до свадьбы у них...

— Да нет, не у них. Это у него: отец, мать, две сестры — и ведь все Кобылянские.

— Все?

— Все.

— И ничего нельзя с ними сделать?

— А что сделаешь? У них в роду все — Кобылянские. И дед был... Кобылянский.

— Это, значит, у них еще с царских времен пошло?

— Да уж, видно, так.

— А вот это уже совсем плохо. Ну что скажет читатель, вы подумайте. А ведь вы молодой, начинающий, вся карьера, знаете, коту... Тьфу, коню под хвост.

— И что ж теперь делать?

— Фамилию менять придется. Больше нечего.

— А дед как же? Родители?

— А он за своего деда не ответчик. Он у вас решил порвать с проклятым прошлым — и поменял свою фамилию. Современная фамилия, она, знаете, социальный заряд нести должна.

— Как это?

— Ну, как, как... Где он у вас работает?
— В совхозе.
— Совхозов, значит. Новая фамилия, современная. И скромная. А то — Кобылянский! Ну что?
— Если надо, так ведь я...
— Во! И я о том же. Молодой ведь, начинающий. Вы уж мне поверьте, я на этом деле эту, как ее, кобылу съел, все подъезды, ходы-выходы знаю. Ну что — запрягаем? Совхозов, и точка!
— Попробуем, чего же делать.
— Вот и отлично! Как фамилию смените, сразу и приходите, товарищ Кобылянский. В целом — хороший рассказ. И главному понравился. Принесете документы — будем печатать.

В ходе верстки и вычитки очередного номера в нашем с редактором круговороте принимает самое непосредственное участие корректор — Ирина Рихардовна, как торжественно зовет эту двадцатилетнюю девчонку Анатолий Федорович. У нас с ней отношения попроще, и Валька, когда заходит в корректорскую и видит нас вдвоем, возмущенно спрашивает:

— А чего это вы тут делаете?
— Как что? Целуемся, например, — радуюсь я. — Обнимаемся. А то и на филологические темы беседуем. Про Бабея.
— Ого, знакомая книжка! — кричит Валька. — Только переплет новый. Откуда? Папа дал?
— Папа. А что?
— А ты не читала, что ли?
— Нет. Он так возмущался!
— А про кобеля говорил?
— Ага. — Ирка начинает ржать.
— А говорил: «Только обещайте мне, что будете читать по одному рассказу в день. Я даю вам книгу на неограниченный срок».

Ирка от смеха падает лицом прямо на свежееотгиснутую верстку четвертой полосы, и когда поднимает голову, утирая слезы, нос и щека у нее в черной краске. Можно даже разглядеть отдельные буквы.

— Посмотрела бы на себя в зеркало, — сурово говорит Валентина.

Ирка идет к зеркалу, охает, и уносится в туалет.

Все это я наблюдаю молча, как непосвященный дурак.

— В чем дело? Почему не знаю?

— Да ты что? Я тебе не рассказывала? Это еще в «Синегорке» было, в семьдесят восьмом. Уже не помню, слово за слово, разговор про Бабея пошел.

«А вы что, разве Бабея не читали?» — спрашивает.

«Да нет, — говорю, — не пришлось».

«Ка-ак?! Вы столько потеряли!..»

Я говорю: «Ну, у меня еще все впереди».

И тут — самое главное, к чему весь разговор: «А вы знаете, чем отличается эрудированный студент от неэрудированного?»

«Чем же?»

«А вот тем, что эрудированный отличает Гоголя от Гегеля, Гегеля от Бабеля, Бабеля от Кобеля, а Кобеля от сучки (на этом месте начинает розоветь). А неэрудированный знает только последнее различие».

«Ну, уж Бабеля от Бебеля я как-нибудь отличу!» — заявляю ему с присущим мне нахальством.

А он говорит: «А кто такой Бебель?»

А я знаю? Ну, говорю, революционер какой-нибудь...

«Ну ладно, — говорит, — не совсем революционер, но человек прогрессивных взглядов. И, между прочим, за эмансипацию женщин ратовал. Потому что не знал, что из этого получиться может...»

«Да вы что! — я ему говорю. — Вы, Анатолий Федорович, что — против эмансипации?!»

«Да нет, — говорит, — я не против, вы меня в ретрограды не записывайте...»

Короче, с обеда приволок вот эту же книгу: «Только обещайте мне...» и так далее. Это у него любимая тема — про Кобеля. Славке, теперешнему редактору «Синегорки», тоже рассказывал, когда тот в газету пришел.

Вернулась Ирка, чистая, большие глаза на белой коже с красными пятнами — отмывала краску.

— Ой, в Синегорье много смешного было, — продолжает Валентина. — Мы же вдвоем работали, все у меня на глазах. Один раз Ренат, рабкор наш, там, кстати, больше грамотных людей, чем в Ягодном, все-таки стройка, итээров много, так вот, Ренат приносит зарисовку о водителе грузовика, а для колорита еще и стишок Черевченко, ты, Гришка, его не знаешь, поэт колымский, так для колорита он его стишок вlepил.

— А я читала, — говорит Ирка.

— Ну да, ты все читала, кроме Бабеля! — Валентина хохочет, я вместе с ней. — А стишок, ну, цитата, такая:

На перевале минус пятьдесят,
Внизу суставы лиственниц хрустят,
И снова без особого труда
Беря подъем, таращит фары «Татра».

Мы в Синегорье будем только завтра,
А может быть, не будем никогда.

— Кошмар, — говорю я, — сеять в советской газете упадочнические настроения!

— Ну да, у Папы, как он говорит, волосы дыбом. «Ну что вы, Ренат Андреевич, — Валька начинает бубнить, подражая Папе, — все-таки праздничный номер, а тут вот такие стихи: а может быть, не будем никогда, а может быть, не будем никогда... — и вдруг запел: а может быть... — но вовремя спохватился. — А может быть, без последней строчки, Ренат Андреевич?..»

— Испортил песню, как говорит Ольга Ивановна, — посмеиваюсь я. — Девчонки тоже хохочут. Им эта история уже, конечно, известна...

Лишь один раз, через год, я услышал, как поет Анатолий Федорович. На девятое мая, в день 40-летия Победы, он вдруг пригласил всю редакцию к себе домой. Обед был, по колымским меркам, по высшему разряду. И рыбные, и мясные закуски, салаты, пироги, испеченные симпатичной, дородной, дышащей жизнью, Валентиной Ивановной, матерью трех его дочерей. И со спиртным проблем не было, придурки из Политбюро еще только вынашивали планы очередной войны против пьющего народа, а значит — и народа в целом. Поэтому выпили изрядно, даже Витьку не останавливали. И вдруг, какая-то пауза наступила, вдруг Анатолий Федорович запел. Будто на одной ноте, на каком-то жалобном стоне, именно так, как — это я уже слышал потом — поют эту песню старые северяне:

Я помню тот Ванинский порт
И вид парохода угрюмый.
Как шли мы по трапу на борт
В холодные мрачные трюмы.

На море спускался туман.
Ревела стихия морская.
Лежал впереди Магадан,
Столица Колымского края...

Пел, отвернувшись от всех, отрешенно глядя куда-то в угол. Песня была длинная, третья и четвертая строки каждого ку-

плета повторялись, и мы невольно втянулись в нее, еще не зная слов, и тоже запели, подхватывая повторяющиеся фразы...

Емеля, наша машинистка, неверно напечатала фамилию: Афонасьев вместо Афанасьев. Анатолий Федорович ее спрашивает:

— Что же вы так, Людмила Николаевна? Ведь эта фамилия пишется через «а», от имени Афанасий. Вы Афанасия Фета читали? Поэт такой был.

— А у меня подруга была, — не растерялась Кастрюля, — так ее фамилия была Афонасьева.

— Надо выбирать себе подруг! — говорит редактор.

Шутки шутками, а дело к вечеру, и газета, как обычно, не подписана. Полосы уже в буквальном смысле зачитаны до дыр. В типографии назревает бунт.

— И чего он там все ищет? — спрашивает метранпаж Анна Федоровна.

Соня, она же Софья Дмитриевна, с печатницей Аллой Васильевной сидят рядком на стульях, сложив руки на коленях.

— Сомневается, — отвечаю я. — У него еще пять вопросиков осталось. Видели его карандашик? Маленький такой, три сантиметра. Он вопросиков наставит, а потом вызывает каждого по селектору. Вот сейчас Кирьякова прорабатывает. Тот какую-то государственную тайну чуть не выдал. Но редактор на страже! Поправит и сотрет резинкой. Вопросиком меньше.

Бедный Анатолий Федорович и не подозревает, каким двурушничеством я сейчас занимаюсь. С одной стороны, тяну время, балагурю, пытаюсь снять напряжение в типографии. Вон, директорша уже хотела идти скандалить, да остановилась. А с другой — делаю это, можно сказать, ценой его репутации. Цель оправдывает средства — так это называется? И ведь сомневаюсь, а остановиться не могу.

Наука сомневаться — это целая философия, которая может спасти от необдуманных поступков, скороспелых решений и ошибок в газете. Не зря в народе говорят: семь раз отмерь, один отрежь. Однажды я сказал редактору, по поводу какого-то материала, что, вот, мол, усомнился в этом месте, но проверять не стал, доверился автору.

— А вы побольше сомневайтесь. — Посоветовал он и доба-

вил свою вторую коронную фразу: — Авторы другой раз такое напишут, что волосы встанут дыбом. С авторами работать надо, для этого нас с вами сюда и посадили.

— Это мы понимаем, — ответил я. — А вы знаете анекдот, как крошка сын к отцу пришел?

— Это не анекдот, это Маяковский.

— Ну да, только это он в другой раз пришел, через пару дней. И не сам пришел, а папа его позвал и говорит: вот ты, сынок, делаешь все сторяча, а надо прежде подумать. Не будешь сомневаться — ничего в жизни не добьешься. А сын спрашивает: ты в этом уверен, папа? На сто процентов! — отвечает отец.

— Смешно. — Согласился Анатолий Федорович, но на всякий случай напомнил: — Зато в нашей газете не бывает ошибок.

Эту фразу он говорит всем, кто приезжает в редакцию по тем или иным делам: стажеру-корректору, журналисту большой газеты, мимоходом заглянувшему в наш медвежий угол, или проверяющему нашу бухгалтерию аудитору из управления.

И он не грешит против истины: так оно и есть. Но какой ценой! Тут то же самое: цель оправдывает средства. Я с ужасом начинаю за собой замечать, что все больше и больше сомневаюсь! И не всегда понимаю, в какой момент следует остановиться. И стоит ли вообще доверять себе? Куда спокойней — до бесконечности проверять и перепроверять всякую фигню, какую только можно проверить. Я боюсь потерять уверенность в себе, но, рассуждая философски, прихожу к лукавому выводу, что уверенность в себе — это самоуверенность. А самоуверенность, замешанная на апломбе и великой любви к себе, опять же, — штука опасная. И поэтому все эти сомнения оправданы. Наверное, и Ростовцев некогда так рассуждал, если, конечно, это у него не врожденное, не генетически приобретенное вместе со страхом от того, что родился, и вот — предстоит жить.

На эти темы я еще не раз задумаюсь позже, когда сам буду редактировать районную газету. Тут надо подчеркнуть слово районная. Потому что районная газета — явление для советской печати уникальное. Редактор районки — не только глава газеты, но и ее цензор, что в некотором смысле значит: человек сомневающийся.

Областной центр или ближайший город с так называемым горлитом, где сидят профессиональные цензоры, далеко. Они, конечно, районные газеты читают, но потом, когда получают

их по почте. И предотвратить антигосударственные публикации с военными секретами они не могут. Могут лишь констатировать факт и поставить диагноз. Называется это последующей цензурой. И когда они там, в центре, что-то констатируют, в редакцию летят грозные письма с предупреждениями. Когда их накапливается несколько, редактора вызывают, куда надо, вправляют мозги, объявляют выговоры, а могут и вообще снять с работы. Не столько как редактора, заметьте, сколько как цензора. Потому что предупрежден и табуирован: у каждого районного редактора в сейфе лежит брошюрка на скрепочке. Называется: «Перечень сведений, не подлежащих опубликованию в открытой печати, передачах по радио и телевидению». Каждый год к брошюрке присылаются «Добавления к Перечню...», и кипа не подлежащих сведений, то бишь, государственных тайн, растет и растет. Редактор должен их изучать и принимать меры к исполнению. Правда, если эти брошюрки читать часто, можно прийти к выводу, что писать нельзя ни о чем в принципе. Надо молчать о передвижениях войск и вообще о военных, также, как и обо всех премудростях гражданской обороны. Численность жителей в населенных пунктах разглашению не подлежит. Описание конструкций новых машин — табу. Цифры, касающиеся производственного травматизма, закрыты. Объемы добычи цветных металлов — тут вообще, как в анекдоте про концлагерь: расстрел, виселица и газовая камера. И вот — надо, не надо, лезешь ты в эти перечни и дополнения, проверяешь-перепроверяешь написанное нерадивыми сотрудниками и безответственными авторами. И на каждой летучке твердишь, напоминаешь: это нельзя, то нельзя! А сотрудникам, им хоть кол на голове теши: на то и редактор, чтобы за них отвечать. Возьмет какой-нибудь Виктор, Андреевич или Алексеевич, да и напишет в своем репортаже: «В прошлом году Ягоднинский ГОК добыл восемь с половиной тонн золота, перевыполнив план на...» Тут уже и сомневаться не надо: сдавай партбилет и с паспортом в комендатуру.

А ведь над редактором, кроме цензуры, есть и другая напасть, похлеще: партийный орган в лице родного райкома. Вот и попробуй тут не сомневаться. Кто сомневаться не умеет или не хочет, тот редактором районной газеты долго не работает.

...Сидит, сомневается редактор в своем кабинете. Сидят,

возмущаются в цехе полиграфисты: их рабочий день давно закончен. Но газета — дело святое: утром свежий номер должен быть на почте. И он будет там, и оттуда разлетится по всем уголкам района. А контрольный экземпляр — в обллит, в Магадан.

— Начну с того, что понравилось меньше всего, — говорит Владимир Иванович Першин. Мы сидим в комнатке, заваленной книгами и огромным количеством «Папок для бумаг». В папках — рукописи, присланные авторами изо всех углов Магаданской области, да и не только Магаданской. Немало пишущих людей, живших либо отбывавших некогда срок на Колыме или Чукотке, разъехались по стране. Областное книжное издательство — словно лампа, на которую темными северными ночами летят письма-мотыльки. Мощности у издательства невелики, но зато есть издаваемый дважды в год пухлый альманах «На Севере Дальнем». Напечататься в альманахе — тоже дорогого стоит.

А меньше всего понравились Владимиру Ивановичу, редактору издательства и пишущему человеку (его стихи есть и в том самом сборнике «Бухта Лазурная», где напечатан наш редактор), повесть в рассказах для малышей «Волшебные буквы» и повесть для детей постарше «На озере Джека Лондона».

— Понимаете, — говорит Владимир Иванович, не сильно смущаясь: видимо, давно понял, что деликатность в разговорах с авторами скорее собьет человека с толку, чем поможет ему; иногда полезнее сразу отрезать, отсечь, и идти дальше. Именно так складывается наш разговор. — Понимаете, та заявка, которую вы делаете в первой главке, она в дальнейшем, по большому-то счету, не оправдывается.

Аня, Рыжий и Проша

Высоко взлетают качели!

На качелях — маленькая девочка в больших очках. Крепко держится, поет песню: «Мне не страшен рыжий волк, рыжий волк, рыжий волк, где ты бродишь, хитрый волк. Страшный рыжий волк?»

Рыжий волк лежит рядом, помахивает большим ухом, прислушивается. Ему песенка нравится. Еще бы! Он в ней и

хитрый, и страшный, и — главное — волк. А какая собака не мечтает стать волком? Хотя бы во сне. Или в песенке.

Качели — как маятник больших часов. Качаются, отсчитывают секунды: тик-так, тик-так. Пока завод есть. А кончится завод, засуетится маятник, замедлит ход. Скажет последнее тик-так и остановится.

— Качай, качай! — просит Аня.

Но папа смотрит на солнце, потом на часы. Уроки кончились. Пора Борю встречать.

Аня бежит впереди, по травке. Рядом, по дорожке, идут папа с Рыжим. Аня собирает цветочки — мохнатые белые шарики на тонких ножках.

— Это маме, — говорит она. — А как они называются?

— Кашка, — отвечает папа.

— Кашка? — удивляется Аня. — И есть можно?

— Есть нельзя.

— Как же так: кашка, а есть нельзя? — смеется Аня.

Потом протягивает букет Рыжему. Рыжий нюхает и вежливо отворачивается.

— И он кашу не хочет, — вздыхает Аня. — Может, Проша покушает?

Попугай Проша смотрит на них в окно. На улицу его не пускают — может улететь в жаркие страны. Но ему и дома неплохо. В клетке и кормушка с зерном, и купалка с чистой водой. И по комнатам летать не запрещают никто. Можно даже на кухню заглянуть, сунуть нос в кастрюлю и сказать, точь-в-точь как папа:

— Соли мало! Соли! Где соль, я тебя спрашиваю?

Мама и сердится, и смеется. А он уже муху по окну гоняет. И вдруг видит: идут! Скорей в коридор, а за ним и мама торопится, звонок услышала.

Динь-дон, динь-дон! Аня пришла. А с ней Боря. А с Борей папа. А с папой Рыжий. Наконец-то все собрались. Обедать пора.

Аня садится за стол, есть ложкой суп. Сама, никто не помогает. На полу Рыжий миску облизывает — первым справился. На подоконнике Проша возится. Прижал лапкой цветочка кашки, отрывает по кусочку и бросает на пол.

«Маме это не понравится», — думает Аня, но молчит.

А после еды Аня в кроватку ляжет — тихий час. За ней

и Рыжий — цок, цок когтями по полу, под кровать заберется. Прилетит Проша, за ним и папа придет.

И начнется сказка. Сказка будет новая, а герои — все те же: Аня, Рыжий да Проша. Герои настоящие, не выдуманные. И сказки про них — тоже настоящие. Все в них, как в жизни.

Вот послушайте.

— Как-то все надуманно, выстроено, сюсюканья много, нет отбора четких ситуаций. Дети очень много говорят. Иногда до раздражения. Поменьше этих слов — эффект будет большим.

Может быть, он и прав, но не на сто процентов, Нине же Пугачевой рассказы понравились, думаю про себя. Надо будет глянуть свежим взглядом: написано еще в Ленинграде.

— И вот это, про озеро Джека Лондона. Понимаете, это все уже было. Каждый автор, приезжающий на Север, проходит свой этап освоения. Ему все ново, все интересно, а об этом уже давно написано, сказано. А главное — прочитано. Вы когда обживетесь, поездите побольше, сами это поймете...

Тут ничего нового. Примерно то же я уже слышал по поводу этой повести от Бирюкова и Пугачевой, моих, можно сказать, протеже в магаданскую литературу. И тот же Сахарнов, редактор «Костра», обозвал ее «туристской».

— Но есть деловое предложение: взять из повести отдельные по сюжету куски и сделать цикл рассказов, который может потом войти в детскую книжку.

А это уже интересно: я продолжаю делать пометки в своем блокноте.

— Так, вот. Детские юмористические рассказы мне понравились, на их основе можно составить книжку.

— У меня, кстати, в том же духе повесть есть, «Вещие сны Забиякина», я вам ее привез.

— Хорошо. Над этим вы подумайте. «Бомбардир», «25 квадратных метров», «Я и Сидоров», что там еще? «Сумка»...

— С «Сумкой» в «Костре» забавно получилось. Места в журнале не хватило, напечатали без последней фразы.

— Да, — сочувствует Владимир Иванович, — последняя фраза — это иногда половина рассказа.

Сумка

1 сентября Кузьмин пришел в школу с новенькой сумкой через плечо. Все побросали свои портфели и окружили Кузьмина. Девчонки со знанием дела обсуждали качество кожи, мальчишки дергали туда-сюда медную молнию и завидовали. Обстановку, как всегда, разрядил Емелин.

— Ты бы, Кузьмин, еще с рюкзаком пришел,— сказал он.

2 сентября Кузьмин пришел в школу с рюкзаком.

— Ты бы, Кузьмин, еще и палатку принес! — обрадовался Емелин.

3 сентября парты в классе были сдвинуты. На свободном пространстве перед доской стояла палатка. Изнутри доносился храп.

— Ну, молоток! — сказал, заглянув внутрь, Емелин. — И спальный мешок не забыл!

Когда Кузьмина вытащили из палатки, Емелин добавил:

— Ты бы, Кузьмин, еще и байдарку приволок!

4 сентября Кузьмин всюду махал веслом, искусно обходя парты.

Емелин утер нос, подумал и сказал:

— Ты бы, Кузьмин, еще и компас с крейсера притащил!

5 сентября Кузьмин в школу не пришел.

6 сентября Кузьмин пришел в школу со стареньким ранцем и с документом из милиции, в котором сообщалось, что он, Кузьмин А. И., 5 сентября заблудился по пути в школу и был остановлен на 63-м километре Киевского шоссе.

— Ты бы, Кузьмин, еще через Владивосток в школу пошел, — сказал Емелин.

...7 октября пришла телеграмма из Владивостока: «Разворачиваюсь на 180. Скоро буду. Кузьмин».

Из взрослого Першину понравились рассказы «Рассеянная светская жизнь» и «Загашник» («отдельно они, конечно, не пройдут, а в книгу можно») и повесть в диалогах «Коля и Эне» («возможности мастера, получилось, любопытно, повесть порадовала» — очень лестно для автора).

— На основе этих вещей можно будет о взрослой книге подумать. Пока «диалоги» оставим для альманаха, но сначала в

альманах дадим подборку школьных рассказов. Представим автора.

У каждого из «больших» рассказов есть своя предыстория. Оба — о пьянстве в нашей жизни, со всеми вытекающими последствиями. «Рассеянная светская жизнь» почти полностью выдумана, не выдуман лишь герой, которого я частенько встречал у пивного ларька и которого срисовал чисто портретно, а биографию придумал. Да еще «профессор» — тоже из жизни. Главный редактор издательства Яковлев, сказал Першин, этот рассказ, в отличие от школьных, не одобрил. Не удалось мне, кстати, напечатать его и в «Северной правде». Ростовцев неделю пророчески молчал, будто чуял уже грядущие перемены на верхотуре со всеми вытекающими последствиями, в том числе и с антиалкогольной кампанией. На самом деле, конечно, перестраховывался, для чего дал прочитать рукопись своему заместителю и эксперту по части выпивки. Дегустатор Ранетов пришел ко мне с этими листками и заявил, что такого печатать нельзя, потому что это смакование пьянства и прославление алкоголизма. Далее с редактором на эту тему разговаривать было бессмысленно.

Рассеянная светская жизнь

С детства, со школы, когда я много читал, в память мне врезалась фраза из старых романов. «Он вел рассеянную светскую жизнь».

Она не рвется из памяти, не вертится на языке, но вспоминается всегда как-то очень кстати, по случаю.

Дядю Гошу я помню с тех же школьных времен. Когда мы получили квартиру в новом районе и я впервые пошел в ближайший гастроном, то сразу приметил его синюю будку напротив пивного ларька. Потом, через несколько лет, когда мы уже были знакомы, дядя Гоша не любил вспоминать о своем сапожном ремесле. Но ребята говорили, что был он не просто мастером — виртуозом. До войны и после работал на обувной фабрике, но не на конвейере. Шил только вручную, обувал, как он выражался, фантазию модельеров. Когда его оттуда все-таки попросили — запивал дядя Гоша ре-

гулярно, он поставил будку напротив ларька, что поближе к дому. И чинил там года три-четыре. Несколько раз мать посылала меня к нему подбивать стоптанные каблукки. Он делал быстро, чисто, и брал за это полтинник — 50 копеек. Все в квартале рады были, что появился у магазина дядя Гоша и не надо больше часами стоять в «Ремонте обуви».

Когда же и здесь не сдюжил дядя Гоша, — руки тряслись вместе с инструментом, он заколотил будку и больше к молоточку своему не притрагивался. Хорошо не мог, а плохо... Наверное, была у него своя гордость. То ли помнил себя молодого, то ли, наоборот, поставила на всем крест память его. Заговариваться стал, и все про одно и то же: про первую пятилетку рассказывал, про чью-то дочку. Будто сам он сапожник, а тот — отец-то — счетовод. И все себя за «антилигента» выдавал и дочке пальто с кошачьим воротником сшил. Приносил башмаки свои стоптанные чинить, а дочку так и не отдал. Сбыл-таки, подлец, командиру полковому — рожа красная, с сабельным шрамом сверху вниз. А важный! Родила она троих детей. В блокаду, пока дядя Гоша чинил «в обозе» — так он выражался, — офицерские сапоги, все вчетвером и сгнули. Да и полковник после войны не объявился.

— Что ж ты, дядя Гоша, — спрашивали его обычно, — другой, что ли, не нашел?

— Второй такой нет и быть не может, — отвечал он.

Про обиду помнил всю жизнь. Научился разбавлять ее, горькую, сладким вином... И глаза его слезились, и кружка с осевшей пеной дрожала в руке.

Он к ларьку всегда подходил точно: без пяти девять. Клава, как откроет, без слов ему первому — маленькую. Пил он ее долго, минут, наверное, двадцать. Так и стоял, плечом — к углу, в правой руке кружка, левая — на палке. Незнакомые держались в сторонке: казалось, вот-вот попросит чего-нибудь. Но он стоял тихо, никого не трогал, а когда уставал, шел на скамеечку за ларьком, на детской площадке. Палку прислонял сбоку, вытягивал раненую ногу, и сидел, чуть сгорбившись, глядя бесцветными глазами неизвестно в какую точку. К нему всегда кто-нибудь подсаживался. То ребята бутылку распить подойдут, и ему накапают. То кого-то после кружки с прицепом на разговор потянет. Мы, помоло-

же, как поддадим, тоже к дяде Гоше, за жизнь поговорить. А подерется кто — дядя Гоша уже туда ковыляет, и сразу расходятся. Не его боялись, конечно. Что его бояться, маленький, в чем душа. Скорее, наоборот, задеть его боялись. И все споры кончались одним: по рублю, и дяде Гоше стакан. Трезвым-то он и не бывал. Даже утром. Проспиртовался, словно уж в банке, и на мир смотрел сквозь стекло, за которым сам себя ото всего мира замкнул.

Меня, не знаю почему, любил. Обнимет другой раз, прижмет щекой колючей, и начинает про счетоводничью дочку. И я, вот что странно, мог днями про эту дочку слушать. Если с утра дел у меня не было, то уже с половины девятого у ларька дежурил, ждал, когда из-за угла, из щели между блочными домами, дядя Гоша появится. Он выходил ровно без десяти, и пяти минут ему точь-в-точь хватало — от парадной до первой кружечки. Пунктуальный был мужик. Я по нему часы утром ставил. Идет, старается, будто большую работу делает. И этот его серый, пустой взгляд — словно не видит ничего впереди. Только шагах в двух остановится, улыбнется беззубым ртом и протянет руку. Я навстречу не шел, у него ритуал такой был — самому доковылять и первым протянуть руку. Важность какую-то свою соблюдал. До одиннадцати мы с ним проходились по пиву. Он по маленькой, я по большой. Денег у него почти не бывало — с пенсии далеко не уедешь. Я часто платил за него. То есть, угощал. А мне с ним хорошо было. Может быть, я из-за него и к ларьку привык. Выпьет — и про эту самую дочку. Ведь сколько раз я это слышал, а бывало, под настроение, опять до печенок проберет. Такой тоски нагонит... Жену свою бывшую, пацана начинал вспоминать, и клялся дяде Гоше, что к ним... да чего об этом говорить...

А вот кого он не любил, так «профессора». Тот вроде психа был. Напьется, ходит перед магазином с кружкой, и произносит всякие глупости. Что он член Верховного Совета и всех скоро на чистую воду выведет. Или про Анвара Садата что-нибудь. Про пирамиду Хеопса. Грамотный мужик. Но контуженный. Его и милиция знала, ПМГ если возьмет, то только, чтоб домой отвезти. В общем-то он безобидный — покричит, натешится и пошел. Разве что переберет другой раз, упадет, вывозится... А утром явится — как огурчик, при галстукке, в

шляпе, в белой рубашке. Кто-то там дома его наглаживал.

Дядя Гоша, как профессора увидит, так с места снимается и переход делает к соседнему ларьку. С работы идешь — знаешь: если профессор около нашего ларька бузит, значит, дядю Гошу надо у другого искать. Не любил дядя Гоша суеты. Кстати, его милиционеры тоже уважали. До «вырубки» он никогда не напивался. Но даже не это главное. Не шумел никогда. Любил порядок. Участковые наши, когда менялись, вместе с участком и дядю Гошу друг другу передавали, обязательно знакомили. А предпоследний участковый был, Михаил Семеныч, тоже, между прочим, в свободное время выпить не дурак, так тот прямо говорил: вы бы, ребята, у дяди Гоши учились; никому от него никакого вреда, не шумит, не дерется, а пьет не меньше вашего.

А куда ему драться-то было: едва двигался. Хотя и участковый прав — он характером тихий был. Может, потому и ремесло хорошо знал: не только талантом брал, но и терпением.

В одиннадцать мы с ним шли в магазин. Ровно в одиннадцать со скамейки поднимались. Ни минутой раньше, как есть у нас любители. С половины в дверях торчат, старухам за хлебом не пройти. Дядя Гоша сохранял достоинство профессионала, а тех, что торопились, называл вертохвостами. Если было вино, мы для начала брали бутылку, если не было — маленькую. Сам-то вино предпочитал. А мне все равно, главное — с ним. Свою часть он пил последним, и так же долго, как пиво. Приподнимал стакан, кивал каждому знакомому, да и незнакомым тоже, его-то здесь все знали, все здоровались. Пил по глоточку. Со стаканом он себя человеком чувствовал. Когда рука пустая была, он не знал, куда ее деть. Как плохой артист. И всегда старался растянуть...

Так и умер — со стаканом в руке. Стоял, к стенке прислонившись. И сел. Потом ребята рассказывали. Я на работе был. Тихо ушел. Сначала никто не понял. Удивились: не бывало такого с дядей Гошей. Вдруг — сел, и ни с места. «Скорая» увезла. Через три дня хоронили. Мы по трешке — кто где, но нашли; купили венки. И помянули перед похоронами. И после, конечно, тоже. А на кладбище, кроме нас, только сестра была, старушка, совсем седая. Гроб, она, да мы в сторонке. И плакали — кого стесняться.

Теперь я к тому ларьку редко хожу. Лучше крюк дать. Не могу я ларька этого без дяди Гоши видеть. А другой раз — возьмешь бутылку, и к нему, на Южное. Сделал там столик, скамейку. Весной сирень посадил. Он, как про полковничью жену вспоминал, так все про весну говорил, и про сирень. Я — говорил, — как к ней иду, обязательно сирени нарву. Она сирень любила. Да вот отец, счетовод-от, помешал. И сам на войне сгинул. А не помешай тогда, может, все б иначе обернулось. И живой бы осталась, и детишки...

Раз засиделся у него, а тут с автобусами перебой, на работу, в вечернюю, опоздал. А пойдешь, объясни, почему. Я про дядю Гошу, а мастер орет, не верит. Да что он для него? И объяснять нечего. Остался без премии.

На днях, утром, спешил — подошел к нашему ларьку, взял кружку, а Клава говорит: что не видно давно? Я ведь ей тоже ничего сказать не смог. Не допил, ушел. И так вот часто: тоска, а пить не могу. Через силу — противно. Читать стал снова, а что одному делать? Люблю спокойные книги, про людей, про судьбы, где мысли есть. Только без геройств там всяких — ура! Сабли наголо! Граф Монтекристо!

И вот опять попал на фразу на эту. «Он вел рассеянную светскую жизнь». Чем она мне дядю Гошу напоминает? Не скажу, не знаю. И поговорить не с кем. С ребятами пробыл — не понимают.

А кому-то рассказать надо.

Говорят, что все люди на нашей Земле знакомы через шесть рукопожатий. Не знаю, почему шесть, но похоже. Вот, например, наша Ольга Ивановна, работая на Ставрополье, пила однажды на полевом стане водку в компании с наехавшим в район секретарем обкома Михаилом Сергеевичем Горбачевым. То есть, от меня до Горбачева — два рукопожатия. Еще одно — до Брежнева, четвертое — с товарищем Сталиным, пятое — товарищ Ленин. А шестое — уже и вообразить страшно.

Приехавший к нам свердловский писатель Борис Степанович Рябинин был близко знаком с Павлом Петровичем Бажовым, автором «Малахитовой шкатулки». О Бажове в январе 1979 года, к его 100-летию, я делал передачу в детской редакции ленинградского радио (точнее — писал сценарий), а также сочинил что-то вроде эссе для «Скороходовского рабочего», называлось оно «В гостях у бабушки Слышко». Теперь и Бажов совсем рядом. У Рябинина, уже немолодого обаятельного человека в больших очках, командировка от журнала «Уральский следопыт». Повод — трагический, но со счастливым концом: приключения (обернувшиеся злключениями) ягоднинских мальчишек, которые решили покататься по только что вскрывшемуся Дебину на льдинах. Думали, покатаются вдоль берега, а унесло их на один из диких островов, где они зазимовали, как полярники, почти на три недели. Но, в отличие от полярников, без пищи и снаряжения — лишь в том, в чем вышли из дома. На острове нашелся какой-то охотничий шалаш, в котором они спасались, отогревая друг друга последними остатками того, что называется живая душа. Их долго искали в окрестностях Ягодного, но никто даже вообразить не мог, куда их занесло. И нашли, в итоге, совсем случайно, когда уже никто ни на что не рассчитывал.

К приезду Бориса Степановича происшествие это стало достоянием истории. О нем писали и мы, и «Магаданская правда», и даже «Известия». Наши беспризорники, при живых родителях, уже выписаны из больницы и предстали пред ним в целостности и сохранности. Хотя еще и покашливают, и шмыгают носами, но в школу ходят.

С первой же встречи в редакции мы находим с Борисом Степановичем общий язык, вместе идем обедать, потом приглашаю его к нам домой, где, за столом, под водку, общаться гораздо теплее, чем на улице, где еще не вытаяли последние, вконец почерневшие островки снега, и гораздо приятнее, чем в душно натопленных кабинетах редакции.

Рябинин — коренной уральский житель. Родился в Кунгуре в 1911 году, закончил техникум по специальности геодезист, решив идти по пути отца — землемера, потом переехал в Свердловск, в Уральском механико-машиностроительном институте получил диплом инженера-механика. Войну провел в тылу, которым был и Урал, куда переехало множество заводов, институтов и прочих учреждений. Правда, побывал и на фронте: четыре месяца служил корреспондентом при танковой бригаде Уральского добровольческого корпуса.

Дежурный вопрос: «Вы бывали раньше в Ягодном?»

— В Ягодном нет. Но поблизости бывал. Я ведь, по общественной должности, как член Центрального совета Всесоюзного общества охраны природы, был на востоке страны крайним.

Он улыбается. Хорошее определение.

— То есть, почти десять лет отвечал не только за Урал, но и за всю Сибирь вплоть до Камчатки и Сахалина. А все эти поездки, командировки, это же все связано и с литературной работой. У меня в Магадане много друзей, о которых я писал. В Москве скоро выйдет книжка, называется «Ушедшие — живущие», там я о многих написал, с кем судьба свела. Прежде всех, конечно, Павел Петрович.

— Бажов?

— Да. Нас связывала, несмотря на разницу в возрасте большую, и личная дружба, много общались по работе, по творческим делам. Он был председателем у нас в Союзе писателей, а я секретарем. Вместе работали в альманахе «Уральский современник», из которого потом уже вырос журнал «Урал».

— Когда вы с ним познакомились?

— Задолго до войны. Но сблизились в тридцать девятом. Только что вышла «Малахитовая шкатулка», и он отправился по местам, где вырос, собирать материалы для новых сказов. И пригласил сопровождать его. Для меня это было новое открытие Урала. И Бажова, конечно. Непростой, глубокий был чело-

век. И с юмором своеобразным. «А зачем вам борода, Павел Петрович?» — кто-то спросил. Он трубочку закурил, лукаво улыбнулся и сказал мечтательно: «Борода — она штука шшэкотная!»

— У него ведь и фамилия с подвохом была?

— Ну да, на Полевском заводе Бажовых часто Колдунковы звали, там у всех уличные прозвища были. По местному наречию бажить — значит, колдовать. И в «Зеленой кобылке», автобиографической повести для ребят, он — Егорша Колдунков, никак не иначе.

— Путешествие с Бажовым оставило какой-то след в вашем творчестве?

— То, что я написал, называлось «По следам легенды». А потом еще я составил сборник воспоминаний о нем.

Мы прогуливаемся по Ягодному, подставляем лица еще студеному северному ветерку и уже теплему, приласкававшему весеннему солнцу, и я, наблюдая за ним, удивляюсь его выправке, его бодрости. Вот ведь приехал в какую даль, в командировку, а человеку — считаю в уме: 85 минус 11, получается: 74 года! Давно пора «на печке лежать», но он, видно, из тех, кто в горизонтальном положении жить не умеет.

— А мой прадед, — говорю я, — Герасим Гурьянович Фирсов, был уральским рабочим.

Борис Степанович останавливается, пристально вглядывается в мое лицо, пытаюсь найти типичные уральские черты: чуть припухлые глаза, выступающие скулы, все это было в лице моей бабушки.

— Вот разве скулы... — говорит он, с сомнением глядя на мой семитский нос.

— Ну, папаша поработал, — смеюсь я, смеется он. — А на Урале и по сей день немало родственников. Две бабушкиных сестры с родней, а третья, старшая — матушка старообрядцев в Красноуфимске. В детстве Оней звали, а потом, в юности, ушла к староверам, теперь — матушка Александра. Благодаря ей я и на Урале лет восемь назад побывал. Бабушка у матушки гостила, и я поехал за ней. Неделю жил в доме со старухами беспаспортными.

— Да, нетипичная для наших времен судьба.

— В отличие от остальной семьи. Прадед большевиком был, бабушка из первых комсомолок, братья ее в Гражданскую воевали, раскулачивали... А теперь вот матушка бабушку в свою веру

покрестила. У них в доме, в подвале, большой специальный чан есть, по всем правилам, с полным окунанием... Хотя, бабушка со своим большевизмом давно покончила, после того, как посадили на десять лет. Да и матушка тоже по лесоповалам помывкалась...

Этот грустный разговор наводит моего собеседника на собственные военные воспоминания.

— В войну ведь Свердловск был не только промышленной, научной, но и культурной базой. Сюда приехали из Москвы многие писатели: Лев Кассиль, Агния Барто, Анна Караваева, Мариэтта Шагинян, Федор Гладков... В сорок втором году мы выпустили большой художественный сборник «Говорит Урал», там многие участвовали, и там первая моя повесть опубликована. Хотя в Союз писателей я вступил еще в тридцать девятом, принимали как детского писателя. А потом, — смеется, — и взрослым стал. Война свою роль сыграла. Я много где бывал, хорошо знал тыл. Не тот, где отсиживаются, а тот, где ковали оружие победы, как тогда говорили. Об этом подвиге, о буднях, когда спали лишь для того, чтобы набраться сил для новой работы, писать было труднее, чем о фронте...

— Как вам у нас? — спрашиваю на прощанье.

— Ваш поселок мне понравился. Были здесь приятные встречи.

— Даа, — говорю я, — борода — она штука шшэкотная!

Таким, лукаво улыбающимся, чем-то, наверное, похожим на Бажова, остался Борис Степанович Рябинин на снимке Владимира Высокого, опубликованном вместе с нашим интервью в «Северной правде» и «Магаданском комсомольце».

Боря весь этот год занимался в кружке при экспедиции. В июне они во главе с Верой Гавриловной, геологом и руководителем кружка, ездили в Магадан, на геологическую олимпиаду. Лучшими не стали, но выступили достойно, заняли призовые места в нескольких категориях. Теперь кружок превратился в юношескую партию, которая будет работать в поле вместе со взрослыми. Когда стали собираться, выяснилось, что по существующим инструкциям в детской партии обязательно должен быть педагог-воспитатель, желательно мужчина. А где его взять, да еще в середине лета?

— Папа, пошли с нами, — говорит Боря, отвечая на мой вопрос: «Что случилось?». Он пришел из экспедиции прямо в редакцию.

— Так я же не педагог, я только воспитатель: тебя и Аню воспитываю.

— Но у тебя же диплом есть!

— Диплом есть. — Действительно, в дипломе моем университетском в графе «специальность» написано: «Русский язык и литература, преподаватель русского языка и литературы». И зачеты есть по педагогике и психологии, и практика в вечерней школе. Практика, правда, была та еще! Один урок по «Грозе» Островского я провел со шпаргалкой, спрятанной в книге, но на большее меня не хватило. А чтобы практику мне зачли, я пригласил на урок Толю Белова — нашего скороходовского поэта, у которого к тому времени вышла самая настоящая книга стихов. Толя был рабочим, но стихи писал не хуже свободных художников. Белов такому предложению обрадовался: какой поэт не рад встрече с читателями, или хотя бы со слушателями? И с бюрократической точки зрения тоже все красиво выглядело: рабочий-поэт провел урок литературы с учениками школы рабочей молодежи...

— А ты с мамой говорил?

— Мы с Верой Гавриловной к ней ходили, она согласна. Даже рада, что именно ты.

— Ну, молодцы, уже все решили. А если редактор не отпустит?

— Так ты же имеешь право на отпуск. Ты уже полтора года здесь работаешь.

Ростовцев был на месте. Новость его, конечно, не порадовала. Но месяц он мне дал. И даже «по-хорошему» позавидовал:

— Подышите таежным воздухом, другим человеком вернетесь, Григорий Аркадьевич.

Не знаю, что он имел в виду, но я своей радости не скрывал. Действительно, отдышусь, позанимаюсь физической работой, будут новые впечатления и приключения, а может быть, и новая книга...

Мы вновь грузимся на машины. Ребят — на одного меньше: Руслан ехать отказался. И, наверное, правильно сделал.

Забрасывают нас на ручей Случайный, в район, где уже работает партия геолога Владимира Усова. На излучине ручья, на большой поляне, стоят оставленные нам, можно сказать, в подарок каркасы палаток: отсюда только на днях уехали топографы. Случайный — быстрый, но не глубокий ручей кристально-чистой воды. Судя по карте, он в этой местности выполняет роль главного водного потока, в который впадают ручьи поменьше: Осенний, Раковский, Карапет. Типично геологические названия, как акынская песня: кого-то на этом месте увидел, то и зафиксировал; потомки разберутся.

Здесь, в отличие от первого выезда, ребятам предстоит потрудиться всерьез. С утра до вечера придется лазать по сопкам вверх и вниз с тяжелыми рюкзаками, причем, маршруты к местам работ будут с каждым днем все длиннее. Каждый ли выдержит новые испытания?

В первую вылазку иду вместе с ребятами, как один из них. С собой беру Малыша, о котором я уже упоминал, но теперь пришло время рассказать о нем подробнее: кто он такой и откуда взялся. Малыш — маленький черно-белый шелковый песик на коротеньких лапках. Уже месяц он живет у нас. Его хозяева, наши друзья, всей семьей уехали в отпуск на пять месяцев. Малыша, с которым мы были давно знакомы, привели к нам вечером, накануне отъезда. А утром, когда я пошел с ним гулять, он спокойненько потрусил в сторону своего дома, не обращая на меня и мои окрики никакого внимания. Пришлось топтать за ним. Нашел его на пороге квартиры, на половичке. Я его позвал — он даже не повернул головы. Подошел поближе — Малыш глухо зарычал. Попытался протянуть руку, чтобы его погладить — он оскалился и клацнул зубами. Милый, добрый Малыш, который еще только полчаса назад у нас дома с удовольствием слопал миску каши и облизал ее до блеска, теперь заступил на сторожевую вахту и превратился в злющего Цербера. Пришлось оставить его в покое, тем более, что пора было на работу. Днем, в обед, принес ему еды и ми-

ску с водой. Он презрительно отвернулся. Но вечером еды не было. Все это повторилось и на следующий день, и лишь на третий он поел с руки и дал себя погладить, после чего, поняв, видимо, что дальнейшая охрана объекта бессмысленна, согласился выйти на улицу и окончательно переселился в нашу квартиру.

И вот — наш первый с Малышом рабочий день в тайге. Идем под руководством геологов ставить вешки — размечать территорию по склонам сопки, где предстоит работать. Погода — пляжная! Солнце, свежий ветерок, температура — далеко за двадцать. Тем не менее, мы в наглухо застегнутых рубашках с длинными рукавами, в джинсах, резиновых сапогах и головных уборах. Самые осторожные — в накомарниках. Одежда — единственное, кроме ядовитой (больше, кажется, для нас, чем для насекомых) мази «ДЭТА», спасение от полчищ колымских комаров. Малыш семенит рядом, занятый своими делами. То забежит вперед, заметив что-то, одному ему интересное, то отстанет, вынюхивая по обочинам тропы какие-то травы, то вдруг замрет, оторопев от встречи с выскочившим из-под кустов бурундуком. Проблемы начинаются, когда мы подходим к склону сопки. Коротенькие лапочки Малыша здесь оказываются совершенно бесполезными. Он путается в густых зарослях стланика, застрекает в каждой ямке. Стоит мне отойти на несколько шагов, пес начинает жалобно скулить и тявкать. Приходится возвращаться вниз, вызволять его из очередной «пропасти» и переносить повыше, на более или менее ровный участок. И так весь день. Из похода и Малыш, и я, возвращаемся чуть живыми.

Ночью Малыш дрыхнет у меня в ногах без задних лап, но утром вновь увязывается за мной. Вся наша группа, собравшаяся в поле, с интересом наблюдает за ним. Малыш бодро чешет следом, правда, нет-нет да оглядывается на удаляющийся лагерь. Мне кажется, он в некоторой задумчивости. И я пытаюсь ему помочь

— Малыш, иди домой!

Он останавливается и какое-то время размышляет. С одной стороны — надо охранять хозяина. С другой — без присмотра осталась палатка. С третьей — этот кошмар впереди, на этих проклятых горках.

— Иди, иди, Малыш. Домой! Иди, охраняй палатку.

Погладил его, подтолкнул легонько и пошел догонять ребят. На повороте оглянулся — Малыш стоит, словно еще раздумывает: то ли догонять, то ли бежать назад. Наблюдаю за ним еще несколько минут, спрятавшись за густым кустом. Оглядевшись по сторонам в последний раз, Малыш разворачивается и трусит к лагерю.

Вечером он радостно, с твяканьем, встречает нас, едва слышав приближающиеся голоса. А когда мы с ним подходим к палатке, укладывается на пороге.

После ужина замечаю некоторые странности в его поведении. Если вдруг рядом с нашей палаткой проходит Саша Майструк, добрый к ребятам Малыш начинает скалиться и злобно рычать. Ухмыляясь, Саня, с которым мне уже приходилось проводить, так сказать, воспитательную работу, обходит нас стороной и удаляется в большую палатку, где живут мальчишки. Не иначе, днем что-то случилось. Из разговоров с ребятами, оставшимися в лагере, выясняю, что днем на охрану было нападение. Майструк, у которого, видимо, других дел не было, стал дразнить Малыша и делать вид, что сейчас зайдет в палатку. Пес, естественно, стал рычать и лаять. Тогда наш добрый Саня взял палку подлиннее и с безопасного расстояния попытался поддеть Малыша. Тот попятился к палатке и рычал теперь изнутри, время от времени делая устрашающие противника злобные вылазки. Саня и тут не угомонился: просунул палку в окошко, стал шурудить ею внутри. Лишь заметив Веру Гавриловну, идущую из лагеря геологов, Майструк снял осаду.

Утром, к радости моего четвероногого приятеля, я остаюсь в лагере, а ленивого Майструка отправляю в сопки: там он сполна выплеснет накопившуюся энергию. Мы же с Малышом, убрав после завтрака на кухне и помыв вместе с дежурными посуду, идем на рыбалку.

Ручей Случайный, на котором стоит наш лагерь, неглубок (мы его переходим в обычных резиновых сапогах) и неширок — метров шесть-семь, но вниз по течению, на поворотах, попадаются глубокие и спокойные места, там-то и стоит хариус. К ближайшему из таких омутов, полагаясь на авось (нормальные люди ловят рыбу рано утром или ближе к вечеру; днем, да еще в жаркую погоду, хорошего клева не дождешься), мы с Малышом и отправляемся. Время, действительно, не самое подходящее не только для плавающих, но и для ходя-

щих: солнце почти в зените, воздух гудит от полчищ разнообразнейших насекомых, — от мельчайшей мошки до огромных серых слепней, и каждая из этих тварей жаждет крови. Но именно они-то, эти летающие гады, нам и нужны. Они — та самая наживка, которая заменит нам привычного дождевого червя. Червей на Колыме нет. Как нет змей и прочих пресмыкающихся: вечная мерзлота, здесь не перезимует. С другой стороны, хочется наловить хоть чего-нибудь. Сегодня на обед у нас суп из рыбных консервов, и несколько свежих хвостов в качестве добавки были бы очень кстати.

Хлопаю себя в очередной раз по щеке — и вот она, первая наживка: слепень средних размеров. Насаживаю на крючок, закидываю, и тут же поплавок уходит на дно. Вытаскиваю первую рыбку. Блеснув на солнце серебристой чешуей, она срывается с крючка и шлепается на прибрежные камни. Малыш уже тут как тут. Нюхает, трогает лапкой трепыхающееся тельце и отходит в сторону. Не собачья, мол, это еда, сырая рыба. Если точнее — рыбка. Небольшая, с крупную уклейку. Но главное — почин. Нахожу подходящую веточку, пропускаю ее под жаброй, вот и кукан. Следующий слепень не заставляет себя ждать...

Увлекаюсь так, что забываю о Малыше. Оборачиваюсь: сидит в тенечке, тут же ловит мой взгляд. Выпуклые черные и влажные его глазищи блестят, а вокруг них, вокруг каждого — десятка по полтора присосавшихся комариков. Вот она, готовая наживка. Глажу Малыша по голове, придерживаю левой рукой за лохмы, а пальцами правой осторожно снимаю потерявших осторожность комаров. Вот: глазки чистые, благодарно моргают, а у меня в пальцах — черный комочек. Сжимаю его поплотнее и цепляю на крючок. Клеует! А собачья морда уже вновь облеплена...

Мы возвращаемся с куканчиком, на котором десятка полтора небольших хариусов.

— Молодец, Малыш! — говорит Вера Гавриловна, выслушав мой рассказ о рыбалке.

Малыш сидит и смотрит — то на нее, то на меня. За что его хвалят? А, не важно, за что! Все равно приятно.

Спалился Витька, похоже, на самогоне, несколько подзабытом и вновь возрождаемом ныне народном напитке. А что делать, если водки и вина, продаваемых теперь по талонам, пьющему человеку хватает лишь на два счета: днем — выпить, утром — опохмелиться? А дальше? Ждать талонов, которые выдадут через месяц? К тому же, и отоварить талоны — дело не простое. Прорыв к прилавку — битва, где каждый за себя, когда не знаешь, доберешься ли до вожденной бутылки, или сомнет и растопчет тебя слепая толпа, оставив шанс лишь для похода в аптеку. «Кто последний? Я за вами!» ныне звучит смешно.

На эти грустные мысли наводит драматическая картина, разворачивающаяся перед моими глазами. Иду с обеда мимо единственного, оставленного «в живых», винного магазина. Перед ним — тесная и оживленная толпа разномастного населения, преимущественно мужского, но попадаются и бедовые тетки, которых не остановит и горящая изба, если в ней спрятана бутылка.

14-00. Время че! Дверь со скрипом и треском открывается. Толпа сжимается в плотную пружину, которая вот-вот распрямится и вытолкнет внутрь первых счастливых. Но... не тут-то было: счастливики плотно сплетенным комом застревают в дверях. Сзади напирают, слышны первые вопли хилых и тщедушных — будущей муки в этих безжалостных жерновах. Однако, голь наша и тут хитра на выдумку. Открыв рот, наблюдаю, как по головам, прямо над толпой, по-пластунски плывет ловкий человечек в зеленом спортивном костюме. Ну — точь-в-точь зеленый змий по бутылке, на которую теперь похоже это дикое скопище народа. И вот он уже у самого горлышка, над теми, кто застрял в двери, перекачивается по ним и сваливается в полое пространство лабаза. Хлоп! Пробка вылетела... Торговля начинается.

— Привет!

Я вздрагиваю от неожиданного хлопка по плечу. Это Саша, муж Гали Федченко.

— Привет! С обеда?

— Отдохнул немного. Ночевать буду на дежурстве.

— Видал? — показываю на беснующуюся толпу.

— Наши пациенты. Кого-то из них буду сегодня оперировать. Врачей не хватает...

— Все из-за этих, лечёных алкоголиков? — Так мы меж собой зовем теперь Горбачева с Лигачевым. Беспроигрышный ход: хочешь развалить империю — введи самый идиотский закон, какой только можно выдумать. Увеличь, скажем, налоги раз в пять, или, того проще, — запрети народу пить.

— Руки-ноги ломают, головы пробитые, ребра... Отравления... Пьют все, что попало: метиловый спирт, политуру, тормозную жидкость. Настойки на спирту из аптек размели. За месяц работы в разы прибавилось.

— Одеколон, говорят, пропал.

— Спрашиваю: что пил? Шартрез. А ты? Коктейль.

— «Шипр», что ли?

— Ну да. А коктейль — «Тройной». Кстати, слышал историю про коктейли?

— Еще нет.

— В субботу привозят к нам, одного за другим, пацанов, потом девчонок. Лет по семнадцати. Симптомы одинаковые: алкогольное отравление разной тяжести. И чем, как ты думаешь?

— Понятия не имею. Не керосином, надеюсь.

— Коктейль! «Русская тройка». Пятьдесят коньяка, пятьдесят водки и сто шампанского.

— Классный набор! Где брали?

— В ресторане.

— А что? Умно: отдельно нельзя, а коктейль — можно.

— Уже нельзя. Прикрыли лавочку.

Прощаемся у редакции. Саше дальше, в больницу.

Утром отсыпаюсь и только к вечеру заглядываю в редакцию, чтобы понять, с чего начнется жизнь завтра.

— О, привет! — встречает меня Ольга Ивановна. — Когда приехал?

— Сегодня, с геологами, на машине.

— А тебя Лахтин искал.

— Лахтин? — новость мне не нравится. С какой стати я понадобился секретарю райкома?

— Сказал: появится, пусть сразу ко мне.

— Дело шьют? — мотаю головой в сторону селектора. Он уже несколько месяцев, как сломался окончательно, но стоит на столе, как монумент, как воплощенное в железяку напоминание о том, кто в доме хозяин.

— Хочешь, загляни. Еще не ушел. А я, с твоего позволения, откланяюсь. Удачи!

Ростовцев отделяется дежурными приветствиями. Про райком — ни слова, сразу про работу, чтобы я уразумел, какой тут в редакции без меня был суровый порядок. Вот, сегодня осталось только первую полосу завтрашнего номера подписать в печать, а что будем ставить в следующий — решим утром на планерке.

Выходя из его кабинета, смотрю на часы.

Лахтин, скорее всего, еще в райкоме, можно позвонить. Однако, спешка-то к чему? Спешка, как известно, хороша при ловле блох. Пусть они этих блох сами ловят, а я успею.

Пойду лучше в садик, за Аней.

Утром, в девять ноль-ноль, звоню в райком.

— Я вас жду, желательно — прямо сейчас.

Иду, поскрипывая сапогами по вчерашнему, еще не тронутому угольной пылью снегу. Готовлюсь к худшему, а это уже лучше, чем ничего. Все-таки некая ясность. И расплата за веселое недельное путешествие. Погулял — теперь получи компенсацию. Все шарики и ролики в башке, изрядно перемешавшиеся за последние дни, занимают свои места, и перспектива первого партийного выговора в моей биографии уже не кажется чем-то ужасным и трагическим.

Однако Лахтин улыбается, протягивает руку. Начинает издали, если считать в километрах, то за пару тысяч.

— Григорий Аркадьевич, а вы бывали на Чукотке?

— Нет, только на Колыме, — нервно смеюсь я.

— У вас есть такая возможность. Ваша кандидатура одобрена в обкоме, теперь дело за вами. Но, если честно, от таких предложений не отказываются.

Я теряю дар речи. Потом бормочу что-то вроде:

— Я не получал никаких предложений. Я только вчера из Ленинграда вернулся...

— Знаю, знаю. А вам Ростовцев ничего не говорил?

— Нет.

— В Певеке вакантно место редактора районной газеты. У вас достаточно опыта, ну, и всего прочего. И Анатолий Федорович вас рекомендует, уверен, что справитесь.

— Как-то все это слишком неожиданно...

— Завтра вы должны дать ответ. Посоветуйтесь с семьей. Пока, конечно, придется поехать одному.

— А если нет?

— Ну, на нет и суда нет! Только такие предложения на наши головы каждый день не сваливаются.

— Вы думаете, надо соглашаться?

— Я думаю — да. Вы же журналист. Новая работа, новые места, природа, люди. Я бы на вашем месте и не задумывался. Кстати, на размышления — день, на сборы — два. В понедельник после обеда вы должны быть в кабинете Владимира Ивановича Сорокина.

Сорокин — секретарь обкома, прямой начальник Лахтина.

Федор Васильевич и его зять Сережа

Рассказ

От областного центра — Магадана — до заполярного Певека, раскинувшегося под сопкой, на берегу Чаунской губы самого холодного в мире океана, на Ту-154 два часа лёта. Как, например, от Ленинграда до черноморского побережья Кавказа.

...Редакционный уаз останавливается у серо-бетонного двухэтажного типового здания.

— Приехали, — говорит Федор Васильевич, водитель. Улыбаюсь, вспоминая старика Митрича. Федор Васильевич раза в два крупнее, ведет себя, как радушный хозяин. Привез гостя. Поглядывает внимательно, на губах чуть заметная улыбка, не без иронии. Ну, что ж: сегодня гость, завтра...

В сгущающихся полярных сумерках приветливо горят окна. Нет света лишь в одном — крайнем слева на втором этаже. Наверное, там и есть кабинет редактора. Я поднимаю голову выше, к черному полярному небу, и вижу там яркую зеленую звезду.

Поднимаюсь на второй этаж и уверенно иду по длинному коридору, до конца, до последней двери. Рядом с дверью, в тупике коридора, что-то строчит машинистка. Не переставая бить по клавишам, она поворачивается и смотрит на меня, открыв рот. В молодости, отмечаю про себя, была вылитой Татьяной Дорониной. Она переводит взгляд на Федора Васильевича, а тот у меня за спиной, я это чувствую, подмигивает ей и кивает на закрытую дверь.

— Разрешите войти?..

Ягодное, 1984 — Санкт-Петербург, 2014

Программа «Время».

На экране, на фоне толпы, флагов и транспарантов, — черноусый афганский студент. Слышна знакомая с детства песня: «Есть у революции начало, нет у революции конца». Крупный план. Довольно беглый, хотя и с акцентом, русский язык:

«Апрельские и предшествовавшие им события в Афганистане на самом деле не были революцией. Это был государственный переворот, без участия народа. Народ нас не поддержал и не понимает до сих пор... Теперь ясно, что, пренебрегая глубочайшей религиозностью народа, мы сделали большую ошибку...»

Студент учится в Москве, в Университете дружбы народов имени Патриса Лумумбы. А на его родине, в далеких от Москвы черных горах, продолжают убивать друг друга его ровесники — советские и афганские солдаты.

— От Сергея есть что-нибудь?

— Как раз вчера письмо пришло. Из Кабула...

— И что?

— Пишет... прилетел из отпуска, его батальона нет. Ушли на боевые, попали в засаду...

— Ну?!

— Ну, подмогу послали. А пока — в окружении.

— А он — ждет?..

— Ждет. Чего ж ему еще-то делать?

— Не зря он говорил... Давно духи этой встречи искали...

Тяжело, надсадно вздохнул движок — дорога пошла в гору и вправо, огибая оппттехторговские склады. А слева, под обрывом, открылся залив — беспредельная белая равнина, перечеркнутая черной полосой скалистого острова. Близ острова, на косе — черный столбик маяка. Оттуда, из-за косы, летом приходят пароходы.

Над черным и белым — густо-голубое, проспавшее всех петухов заполярное утро. Впрочем, какие здесь, на Чукотке, петухи? Разве что образ, рождаемый розовато-оранжевыми снегами на сопках — отблесками солнца, еще восходящего на час-полтора, но уже холодного и тяжелого, готового уступить власть над небом мраку полярной ночи с ее белой луной, мерцающими звездами, с зелеными шлейфами северных сияний.

...Давно они этой встречи искали. Душманы — так их называют в прессе. А там, в Афгане, ребята зовут их дүхами. И это не только созвучие. Духи знают свою землю, ее горы и ущелья. Они здесь хозяева. Как грибы из-под корней, еще не видимые секунду назад, возникают они тут и там — в самых неожиданных, в самых опасных местах.

«Мы постоянно участвуем в операциях, доставили духам много неприятностей. Наш полк приговорен ими к поголовному истреблению. От пленных знаю, что вхожу в поименный список боевых офицеров, за которыми они охотятся...»

Долог путь письма с афганского юга на чукотский север. Теперь Сережа знает все: как сражались, выходя из кольца, кто пришел, и кого принесли. Мы же с Федором Васильевичем ничего не знаем. Не знаем даже, каким будет следующее письмо из Афганистана. Когда идет война, письма бывают разные.

Федор Васильевич притормаживает у развилки: налево — в аэропорт, тут всего-то километров пятнадцать; направо — стокилометровая трасса с горняцкими поселками и полигонами. На тех полигонах не воюют, там добывают нужное для войны золото.

Прикидываю — почти три месяца прошло. Последние дни августа, разгар чукотской осени, — вот когда это было.

Последние дни тепла и первые заморозки, пожелтевшие сопки с лепешками первого снега в низинах, искрящаяся на солнце гладь залива с черными «броненосцами» и оранжевыми «морковками» на рейде, сизый дымок над белой надстройкой ледокола, и далекий, на стыке моря и города, лес портовых кранов — живой, подвижный, растревоженный свежим ветром и горячей работой. Другого леса здесь нет.

— Григорий Аркадьевич, мне бы завтра к московскому рейсу смотаться?

— Приезжает кто?

— Да зять — в отпуск.

— Из Афганистана?

— Ну да. Я к девяти обернусь — как штык, в редакции буду.

— Бензин есть?

— А как ему не быть? Последний месяц дальше аэропорта и не ездили. Только и дела, что ремонтировать... Придется вам с гаишниками договариваться, а то техосмотр не пройдем.

Машина словно услышала хозяина. Справа что-то щелкнуло, и дверца, на поручне которой привычно лежала моя рука, распахнулась. Неприятное это дело, когда на полном ходу открывается дверь. Потянул на себя, хлопнул, но не удачно. Со второго раза закрыл.

Федор Васильевич усмехнулся.

— Вы вот в отпуске были, приезжал начальник, из Магадана, из управления.

— А вы его встречать ездили? Зря. Машину новую не дает, пусть бы автобусом.

— Да куда ж денешься? Подумает еще — специально. Так вот, сел он, дверью хлопал-хлопал — не закрыть. Я молчу. А он вылез — и назад пересел. Сопел, сопел, потом говорит: надо вам на будущий год новую.

— Обещанного три года...

— А мы уж четвертый. За обещания денег-то не платят.

— Давно зятя не видели?

Федор Васильевич прищурился, словно что высматривал на дороге, пошевелил пальцами, лежащими на баранке.

— Да уж больше года. Как его из Ашхабада в Афганистан переводили, они в отпуск приехали. Дочка с детьми у нас осталась, а он туда.

— Отоспится — вы его приведите. Может, расскажет, что там на самом деле...

— Отчего ж не привести? Приведу.

— Звание какое у него?

— Капитана дали, перед отпуском.

За долгие годы этой невразумительной войны и в нашем тихом, заброшенном на южный берег Ледовитого океана городе появилось немало бывших афганцев. Афганцев не по национальности, а по принадлежности к местности, на которой они воевали. О них вспомнили, как и во всей стране, в последние

год-два, стали приглашать в президиумы, на встречи с пионерами. Многих я знал, слышал их негромкие, давно отутюженные рассказы, видел их угасшие, уходящие от прямого взгляда глаза. Эти ребята знали правду, которой не знали ни мы, ни наши отцы — ветераны Отечественной. Эта правда была не только там, в диких горах, но и здесь, в родном Отечестве: правда нашего застойного бытия, с которой каждый из них встретился один на один, вернувшись живым. Они были нужны, пока были солдатами, каждую минуту готовыми пролить свою кровь за... Политработники делали вид, что объясняют — за что. Они же принимали эту игру — за неимением никаких других объяснений. Вернувшись, эти молодые ветераны оказались отработанной породой, выброшенной родимым Отечеством в исторический отвал. Впрочем, ничего нового: то же было и в сороковые годы, когда солдаты возвращались с полей, на которых они действительно сражались за Родину, а не за мифическую справедливость для чужого народа. Такова правда жизни: во все века правители бросали пришедших с войны, ставших теперь обузой ветеранов, тем более — искалеченных. У правителей без них хватает забот. Так было и так будет, пока будут войны...

Однако бывают моменты, когда о ветеранах вспоминают. Подрастают новые поколения потенциального пушечного мяса, и его надо подготовить, показать ему образцы, взбодрить патриотическими лозунгами.

С трибун всей правды, разумеется, никто не рассказывал. А чем дальше отодвигался Афган, тем однообразнее и равнодушнее становились речи. По каплям вытекала из рассказов боль. «Вот как сейчас помню...» — услышал я однажды, и испугался этой стандартной, заученной фразы. Ушла, истратилась горечь. А если и осталась, то спряталась глубоко, затаилась в душе. Не доберешься. Впрочем, нашим властям они сойдут и такими. А нам, их соотечественникам?

«Против нас там не только духи, не только — своим бездействием — народная армия, но и весь мир. Международные отряды — “Черный аист”, в них бельгийцы, англичане, итальянцы, китайцы... Не раз находили у них медикаменты с надписью “ЮНЕСКО”, возможно, и наши, советские...»

Все это он расскажет потом, когда мы будем пить чай в редакции. А пока я пытался представить себе его, боевого офицера, награжденного двумя орденами, десятки раз ходившего

в атаку и отступавшего, терявшего друзей, на месте каждого из которых мог оказаться сам.

Вы понимаете, кого я мог представить: крепко сбитого мужика-рубаку с прокопченным порохом лицом, воинственным взором, ну, и так далее. Точнее, хотелось, чтобы был он именно таким — нестибаемым нашим воином, олицетворением, так сказать, мощи, силы духа и прочих доблестных качеств, воспетых баталистами эпохи социалистического реализма.

— Так мы прибыли. — На пороге, занимая могучим торсом всю широту дверного проема, стоял Федор Васильевич.

Я с удовольствием оторвался от чтения очередной корреспонденции, в которой заведующий отделом экономики Валера Сапфирчик умело рассуждал о преимуществах арендного подряда и смело клеймил далекое министерство за близорукость и бесхозяйственность.

— Так это, Сергея привез. — Федор Васильевич посторонился и подтолкнул к порогу худого, в синей куртке, светловолосого парня.

— А чего стоите? — я встал, отбросил ручку. — Входите.

Поздоровались: пожатие равнодушное, без усилия, пожатие уставшего, а может быть, сильно больного человека.

— Садитесь. Сюда, к столу, тут удобнее.

Федор Васильевич подал пример и уверенно разместился на диване, заняв его почти весь. Сергей сел на стул, на самый краешек, посмотрел вниз, на черные от загара руки, поднял глаза и глянул в мою сторону — исподлобья, настороженно. Спросил, можно ли курить. Достал сигареты, спички, прикуривал не спеша, явно растягивая, занимая время, заслоняя этими нехитрыми движениями неловкость, а может быть — и робость, с которой вошел в чужой кабинет, к чужому человеку. Длинная челка упала на лоб. Прядь русых когда-то, а ныне до седины выбеленных волос.

— Молодой какой! — я взглянул на Федора Васильевича и опять на Сергея. — Сколько ж тебе лет?

Спросил, и тут же удивился своему невольному переходу на ты. Его же это вовсе не удивило. Тихо, не поднимая глаз, ответил:

— Двадцать пять.

Двадцать пять — и уже капитан! На войне как на войне.

Таков ее закон: если гибнет сержант, его место занимает рядовой. Погибает капитан — принимает команду лейтенант.

«Наши потери огромны. Воюют же в основном наши, не местные. За что — никто не знает. В победу революции там никто не верит. Если наши уйдут, духи истребят зеленых, вожди духов очень богаты. Или заставят перейти на свою сторону: своих, мусульман, зря не убивают...»

Ловлю его взгляд, а он словно прячет его, сосредоточенно разглядывает пустую сигаретную пачку, в которую стряхивает пепел.

— Федор Васильевич, будьте добры, на окне, за шторой...

Сам я давно не курю, пепельница — для почетных гостей.

Скрипит диван. Федор Васильевич нависает над столом, подталкивает тяжелую хрустальную пепельницу.

— Да ничего, зачем... Спасибо. — Сергей смущается, хоронит окурки в кулке, и долго, с хрустом, давит бумажку в большой ладони. А через минуту уже достает новую, синюю, как его куртка, пачку болгарских «Ту».

И опять курит, опять смотрит вниз, на обугленный край сигареты. И опять прячет тоскливые, мутные, словно у пьяного, глаза. Но он не пьян. Он только из поликлиники. Видимо, положат на обследование. Желтуха, малярия, разве перечислишь болезни, которыми сражается природа этой страны против чужестранцев? Глаза больного человека. С больной печенью, почками... кровью... душой... Эти глаза видели столько смерти, что хватило бы, чтоб содрогнулись тысячи. Они видели людей изуродованных, разорванных на куски, без рук и ног. Они видели мужчин, и видели обезглавленных горянок, посмеявшихся приоткрыть паранджу, посягнувших на святое и тем самым оскорбивших гордых своих хозяев.

«В гроб кладут все, что осталось. И — “Черный тюльпан”, последний путь. Это единственное их право — лечь в свою землю».

— Как добрался?

— Нормально.

— Из Кабула когда?

— Три дня.

— Ракетные обстрелы там, знаешь?

— Как раз в тот день и улетал. На санитарном. А из Ташкента — обычным рейсовым, до Москвы.

— Как дома, освоился?

Он усмехнулся — впервые, едва заметно. Взглянул на Федора Васильевича. И уже улыбнулись оба.

— Сегодня проснулся, схватился за кровать: где автомат?! Привычка. А во сне еще все там. Трудно понять, что нет войны, что тихо... Такое ощущение... вроде ты здесь, но еще и там.

— Большой отпуск?

— Обычный, полтора месяца, если в больнице не задержат.

— А потом? Опять туда?

Он кивает.

— До конца? — Спрашиваю, и вдруг с ужасом понимаю, осознаю бестактность, двусмысленность своего неосторожного вопроса. Но Сережа не смущается. Понимает.

— До конца, до полного вывода.

— Это — месяца на четыре?

— Мы уйдем последними. Если будет кому... — Вот он, полный ответ на мой бестактный вопрос.

— Наших много осталось?

Ему трудно заполнять паузы. Он закуривает. Нерешительно поднимает глаза и в первый раз осматривается. Задерживает взгляд на детских рисунках — зайцы, домики, сказочные красавицы в немислимых нарядах; на портрете Владимира Ильича; на большом календаре с мирной Дворцовой площадью и белыми на синем цифрами 1988 и 1989.

— Теперь нет. Многие вышли летом. А последним... Будут обстрелы — трудно будет. Зима, ветры, перевалы. А дорога в Союз одна. Да на ней тоннель — больше двух километров, гиблое место.

Федор Васильевич слушает внимательно. Дома, при женщинах, Сережа такого не расскажет. Спрашивает возмущенно:

— А что ж теперь делать? Технику, машины бросать?

— Будем пробиваться. — Сергей поворачивается к тестю, объясняет: — А иначе — последний выход: оставлять технику и улетать. Как оставляли военные городки. Сколько сил ушло, чтобы их обжить, оборудовать. Всё же из Союза везли. Оставили: приходи, пользуйся, живи. Народная армия тут же все растащила, разграбила. Как Мамай прошел. Это вам тут по телевизору красивые картинки показывают...

— Я по телевизору смотрю, — не успокаивается Федор Васильевич, — сколько там «Уралов», КамАЗов. И все бросать? В металллом? Так там и металллом никому не нужен.

— Там свои законы. Свой счет. Я в Ташкенте, пока рейса ждал, решил на такси проехаться. У магазина, на шоссе, тормознули, шофер остановил у дороги. Я его за руку: съезжай с обочины! Глаза черные вылупил, глядит, не понимает. Да ведь на обочине останавливаться опасно, это ж каждый знает... Потом опомнился, говорю: извини, браток. Привычка. Жить-то каждому хочется.

От развилки — направо. Сбегает с бугра и прямой стрелой устремляется на восток трасса — до первого подъема, до первого поворота, и дальше, дальше, влево и вправо, от перевала к перевалу, через ручьи и распадки. «Крепко за баранку держись, шофер», не отрывай от дороги глаз. Коварно грунтовое полотно, врезанное в вечную мерзлоту тысячами лагерных рук. Не оставит оно без дела дорожника, не даст задремать водителю. Еще вчера отливало сизым, едва ли не асфальтовым блеском, а сегодня — только успевай, гаишник, знаки ставить! — тут тебе уже и бугор, а здесь — ямка. И каждый раз, как в первый. У трассы свой нор, свой счет. Ведет она его холмиками могил да скромными обелисками, подчас безымянными. И только по рулевой баранке догадаешься, что здесь где-то, у этой вот обочины, или в том вот кювете завершил свой маршрут и дал вечную клятву на верность этой холодной земле шофер-трассовик.

Годы идут, новые машины приходят на трассу, мощные и надежные, но пока существует она, до тех пор не иссякнет и ее скорбный счет.

Восьмой километр, приемная станция «Орбита» с вогнутой, отражающей все чукотское небо антенной. Первый знак «поворот направо», к цеху ремонта горного оборудования... Мелькают километровые столбики. Дребезжит разбитый ухабами старенький наш уазик. Но движок тянет ровно, не подведет, движок у нас на диво, весь в водителя. Федор Васильевич на этой трассе лет уже, наверное, тридцать. На всяких машинах ездил, и на тяжелых наливняках, и на большегрузах с прицепами. И теперь, на юрком маленьком вездеходе, незаменимом работяге уазе, сидит за баранкой плотно и уверенно. И не спешит вроде, но поспеет в срок.

29-й, 30-й... и вот, вот он, 31-й километр. Где-то здесь четыре месяца назад потеряла наша геологоразведка своего начальника. Мой ровесник, работать бы да работать. Но трасса слепа и

равнодушна к тебе, если ты слеп на трассе. Кинуло машину на свежей ямке, перевернуло, четверым ничего, а пятый, что сидел рядом с шофером, где сижу теперь я, головой о камень. А шофер молодой, только-только из армии... Конечно, суд, персональные дела. Виноватого найти легко, вернуть человека — невозможно.

— Что-то загрустили вы, Григорий Аркадьевич. — Федор Васильевич щелкает крышкой магнитофона, вставляет кассету. Кассета у него всегда одна. Если не возьмешь своих, так и будешь слушать весь путь те же стоны. «...Снова дождь рисует мне... твой силуэт, мадонна», «луна, луна, цветы, цветы» — это на одной стороне. Но теперь мы слушаем другую. Здесь песни жалостные и угрюмые, блатные и бесшабашные. Тоже известный репертуар: «...твой отец тебя лю-любит и по-омнит, хоть его теперь нет вместе с нами», «тебя больную, совсем седую, наш сын к вагону подводил», а потом вдруг — «я родом из еврейского квартала... в пятнадцать лет я бабу в дом привел!» и так далее. Слышали, чай. Один-два раза можно, но на двадцать пятый!..

Слабость ко второй стороне этой «пластинки» у Федора Васильевича вполне законная. Полгода на колымских нарах — строка в биографии. Чепуховое дело, «бытовка», а след оставило. Когда шествует Федор Васильевич в парилку, степенно раздвигая голых мужиков своим ладным пузом, каждому видны славные его сине-голубые меты: и крест с поникшим Спасителем на седой груди, и емкая надпись на плече, и завлекательная, в полный рост, русалка на ляжке.

В парилке Федор Васильевич сидит не долго: бережется после прошлогоднего инфаркта. Он с тех пор даже не пьет. Почти. Некому стало в автобазовской винной лавке очередь устанавливать. А то — в дверях стоял, когда «горючее» завозили, и незаменимым был на этой общественной должности во времена лютой борьбы с зеленым змием.

...Тянется и тянется вдоль дороги колючая проволока. Вышки по углам. Серые строения за оградой. Тишина и безлюдье. Склад ВВ — взрывчатых веществ. Днем мрачен и непригляден, зато вечером, когда поедем обратно, возникнет с макушки дальнего перевала сияющим желтым многоугольником, и опять пропадет — чуть пойдет дорога на спуск. И так не раз еще появится и растает, становясь с каждым разом все ближе и ярче, и все сильнее напоминая что-то до боли знакомое, в далекой смутной тоске (или во сне?) пережитое. Будто не бабка моя,

а сам я отбарабанил эти десять лет. «Цыганка с картами, дорога дальняя... дорога дальняя — казенный дом...» Да нет, в нашем детстве этого в кино не показывали, но будто время сместилось, и не на уззе, а на ленд-лизовском виллисе мчишься по трассе от лагеря к лагерю, от...

Лишь жалкие каменные развалины (тридцать лет прошло) на равнинах, да замурованные урановые пещеры нет-нет да напомнят о тех временах, да вот этот склад, где места на нарах заняли ящики с толом и мешки с селитрой.

Прошли, пролетели забор — и не оглядывайся.

Гляди вперед.

А там, впереди, что там за темные пятна на снегу?

— Никак олени?

— Они самые, — соглашается Федор Васильевич.

Поравнялись, проехали. Десятка два — тощие, ленивые. Ни пастуха, ни яранги рядом. Будто и здесь промчалась и смела все живое дикая волна мамаевых конников.

Нет, не было здесь Мамаю. Другие волны бились в двадцатом веке о простуженные чукотские скалы, унося с собой песни и предания, промыслы народные, да и сами народы. Первые американские фактории. Первые золотоискатели. Первые Советы. Первые геологи. Первые дороги. Первые лагеря. Первые гусеницы по ягелю. Первое золото. И, наконец, напористая волна донбасских горняков, устремившихся к чукотскому золоту. Дальстрой, Минцветмет... кто там еще возглавлял нашествие европейских завоевателей на исконные земли чукчей и эскимосов? И разве гуманнее гусеница бульдозера гусеницы танка? Перепаханной, гнивающей тундрой, загаженными реками, обреченными на бегство и вымирание местными племенами оплачено это золото. Ценой жизни добывается оно на Севере, чтобы новые и новые смерти сеять на Юге. Мирные инициативы за кордоном и геноцид собственных народов. Что это? Глупость? Лицемерие? Равнодушие или подлость? Да не все ли равно старому чукче Еттылину, как все это называется?! Старый Еттылин помнит, как жили его деды, старый Еттылин знает, что станет с его внуком, которого отняли от матери и отдали, для его блага, в интернат, и с которым говорят они на разных языках. Только по-русски, да и то не шибко, говорит внук. А уж олешек пасти...

Долго молчит старый Еттылин, молчит, пока не выпьет водки. И уж тогда прорывает его! И тогда, бегая по коридору город-

ской гостиницы, всю правду выкрикнет прибывший на районный партхозактив Еттылин-орденоносец. Но разве поймет его кто, разве услышит?

Поравнялись, проехали...

Дорога под гору — промерзшая, до блеска накатанная. Тут — как на минном поле: шаг в сторону — и нет тебя. А потому держит Федор Васильевич машину на скорости, как коня в узде.

Внизу, под горой, прорисовываются контуры горных выработок: желтый, игрушечный совсем экскаватор, бурстанки и бульдозеры. Но все это недвижимо, словно на картине, а не наяву в самый разгар рабочего дня. Однако, и впереди, на трассе движение остановлено: человек с красными флажками, кучка водителей у обочины.

— Перекур, — вздыхает Федор Васильевич и осаживает своего скакуна у мигающего тормозными огнями бензовоза. Сизый дымок выхлопных газов вьется над колонной. «Кальмар» — трактор «Кировец» с бульдозером на платформе, два углевоза с прицепами...

— Минут на тридцать, не меньше. — Смотрим на часы. — Успеем. Время есть. У вас ведь в два начало? А сейчас двенадцать, — рассуждает Федор Васильевич. — Дорога хорошая, меньше шестидесяти верст осталось.

В поселке Комсомольском сегодня выездное заседание бюро райкома партии. Отчитывается директор горно-обогатительного комбината. О личном вкладе в перестройку.

Вываливаюсь из теплого салона на воздух, размять ноги — и вмиг застываю. Машинально запахиваю тулуп. Мороз-то за тридцать. Забираюсь обратно. Сидим, молча поглядываем вправо, в сторону полигона. Там тишина. Ни движения, ни звука. И вдруг, в секунду, что-то меняется. Вздрагивает, будто кто подтолкнул его снизу, узик, и тут же взвивается вверх чернобурый взрыв, летят и летят в воздух камни, глыбы мерзлого векового грунта. Уже отгрохотал гром, а клубы дыма и пыли, развихряясь по сторонам, всё летят и струятся вверх, и долго еще земная тяга не в силах справиться с инерцией этого сатанинского выдоха. Проходит минута, другая, и тогда только рассеивается бурое облако, и оживший ветер подхватывает и уносит в белую тундру последние грязно-желтые лоскутья.

От дороги в сторону взрыва медленно движется грузовик.

— Если отказов нет, скоро поедем, — говорит Федор Васильевич.

А я улыбаюсь: подумал вдруг, кто и какой заголовок дал бы репортажу с места только что случившегося события. Сапфирчик, зав. экономическим отделом, журналюга из Житомира, чей житейский принцип определен немудрящей, но емкой формулой «Спустить на тормозах!» «Гремят мирные взрывы» — ни минуты не задумываясь, чуть наискось выведет над машинописным текстом Валера. И таким значительным взглядом одарит, сдавая материал, что поневоле варваром неотесанным себя почувствуешь, коли не дашь ему премию за самый свежий и яркий заголовок.

Курятникова, корреспондент того же отдела, она — с Урала, после долгих раздумий и хождений по кабинетам, перебрав десятка два вариантов, выдаст в итоге что-нибудь вроде... м-м... Вот: «Мастер смежных профессий». А в репортаже подробно и доходчиво оправдывает заголовок рассказом о том, как бурильщик дядя Вася, еще вчера только сдавший экзамен на овладение смежной профессией взрывника, уже сегодня с полной отдачей потрудился, поколдовал над забуренными скважинами, да так славно, что произвел чистый, красивый, или — хорошее слово — добротный взрыв, без отказов и негабаритов...

Взрыв, однако, и в самом деле добротный.

— Отбой, — не замечая моей улыбки, сообщает Федор Васильевич, и обхватывает толстыми пальцами ручку скоростей. Сквозь щели в дверцах в кабину просачивается звук далекой трубы. Рабочий впереди машет флажком. Мы круто выкруливаем влево и, набирая скорость, обходим колонну.

...А вот Орский, заведующий отделом писем, одессит, хотя вовсе не балагур. Напротив — человек желчный, худой и прокуренный, и более всех в редакции склонный к аналитическим раздумьям. Олег отыскал бы поворот покруче. Скажем: «Сколько стоит взрыв?» И порассуждал бы об экономической стороне зимних вскрышных работ. Во что обошелся этот конкретно взятый взрыв? Была ли вообще в нем нужда? И не дешевле ли было на полигоне с мягким грунтом снять торфяную «рубашку» летом, применив, скажем, гидрооттайку вкуче с бульдозерами?

«Сколько стоит взрыв?» А что? В общем-то, неплохой заголовок. Надо запомнить, подбросить Сапфирчику. Хотя... Если сравнить с военными кинофильмами или с телепередачей

«Служу Советскому Союзу!», где доблестные воины только и делают, что часами рыхлят землю взрывами бомб, мин и снарядов... Вот где, кажется, никто ничего не считает. Ни килограммов, ни, тем более, — кубометров. Пали, пока есть чем и в кого! Пока сам не взлетел.

«Два раза взлетал...» Почему два? Откуда это? Чьи слова? «Два раза взлетал, в третий...»

«Бегу, бегу, бегу, а он горит!..» — вопит Леонтьев. Убавляю звук, взглядываю на Федора Васильевича, и все вспоминаю. Это же его, Сергея, слова: «Два раза на mine взлетал, в третий боюсь».

В третий!?

Уходит под колеса дорога, и опять подъем. Перевал Журавлиный, последний перевал на нашем пути. Петля за петлей, взбираемся в гору, все ближе к таким нежуравлиным сейчас белым вершинам. А тогда, в августе, еще расхаживали по тундре высокие черные птицы, курлыкали тревожно и громко, уходя на последние круги над родной землей, готовясь к перелету безрадостному, но неотвратимому. И мы, люди, в чем-то подобны бываем перелетным птицам, когда на переломе судьбы останется вдруг единственный, решительный выбор — как там, у них: погибнуть, спасая друга, или выжить — ценой предательства.

«Летят перелетные птицы в осенней дали голубой. Летят они в жаркие страны, а я остаюсь с тобой...»

— Что вы говорите? — Открываю глаза. Федор Васильевич, склонив голову, ждет ответа.

— Задремал... песню вспомнил. Таких больше не поют.

— А что за песня?

— Да вы-то знаете: про перелетных птиц. «А я остаюсь с тобою, родная моя сторона...»

— Теперь, Григорий Аркадьевич, это не модно. Теперь — это, тыр-тыр, бум-бум, главное — погромче.

«...не нужен мне берег турецкий, чужая земля не нужна». Вот так.

Журавлям — выжить и вернуться. Или погибнуть. Другого не дано. Другое дано человеку. Дано? Может быть, и дано. Остается сделать выбор, самому, пока кто-то не сделал его за тебя. Главное — успеть, пока еще видишь и слышишь, и еще можешь что-то сделать. А если не успел?

Воин — раненный, обессилевший, потерявший сознание, попавший в плен. Разве виновен он в измене? Только по ста-

линским «законам». Но кто сегодня посмеет бросить в его сторону безжалостные, обличающие слова? Мы учимся, наконец, милосердию, учимся прощению. И тем немногим, кто еще томится в душманском плену, должна быть объявлена амнистия: и тому, кто попал в беду, и тому, кто оступился по неопытности и даже по неосторожности. Неосторожность — тоже выбор. Но не тот преступный выбор, который сделали те, пославшие их в это пекло. Те, к которым не может быть никакой амнистии. Впрочем, никакой амнистии им и не будет. Амнистировать можно осужденного. А этих никто не осудит, им навесят на мундиры новые ордена и дадут новые звания.

— Я думаю, цифры пленных преувеличены, — говорит Сережа. — Ведь там и пропавшие без вести, и дезертиры, и предатели. А живыми... живыми братки не сдаются.

— Предатели? Неужели предатели?! — мы вскрикиваем с Федором Васильевичем вместе, почти хором.

Сергей поднимает голову, впервые смотрит прямо и пристально: глаза в глаза. Мутный его взгляд фокусируется, становится злым и четким.

— А разве Щелинский вам об этом по телевизору не рассказывает?

— Щелинский делает карьеру, зарабатывает награды. Он на боевых не бывает.

Странно, но ни один из знакомых афганцев ни разу не помянул добрым словом этого бравого телекорреспондента. «Парень делает карьеру», — я лишь повторил эти жестокие слова, слышанные от афганцев не раз. Тоже выбор! «Приехал худой, теперь живот в штаны не влазит», — обычно терпимые, незлобивые, тут они не скупятся на хулу. «Передаст то, что надо, что в эфир пройдет, а не то, что происходит...»

А как же, спросите вы — поездки на броне, опрокинутые в кювет сожженные автомашины, треск выстрелов?

— Да какие там бои? С командованием у него отношения дружеские, берет нескольких солдат, тут же, в Кабуле, идет с ними в разрушенный квартал, они шумят, стреляют, могут и гранату для острастки швырнуть, а он «ведет репортаж с поля боя»... А что до предателей — есть предатели, и немало. — Сережа морщится, закуривает. Какую по счету?

— Может, чаю? — спрашиваю я, и, не дожидаясь ответа, под-

хожу к дверям: — Галина Семеновна, заварите-ка нам чайку, покрепче. Только не шеварднадзе, индийского.

А Сергей продолжает, будто не слышит.

— Кто из-за дедовщины — там ребята жестокие, трусости не прощают. Кто на Запад, в Штаты, к красивой жизни. А есть — и за деньги, на душманскую службу.

И тут он произнес фразу — единственную фразу, которая не просто удивила — резанула слух, показалась избитой, может быть, даже громкой. Но это мне — показалась. Я вспомнил «Калину красную» и Шукшина, обхватившего березу: сколько тогда смеялись над этими кадрами. А выговорил-то эту фразу он:

— Да разве можно русские наши березы променять на какие угодно деньги?

И выговорил не все, как привыкли мы в былые годы, да все никак не отучимся, кидаем святые слова налево и направо. Выговорил тяжело, как на гору забрался, и ударения, вздымая и проявляя смысл этих немудрящих слов, застучали, всколыхнули воздух трепетными ударами незатихающего пульса памяти. И чем сильнее, тем чаще стучал этот пульс, тем яснее проявлялся чистый и свежий смысл слов, каждое из которых омыто и окрашено настоящей кровью.

— Помните телефильм «Прощай, Кабул!»? Так вот, итальянцы делали фильм не только о нас, но и о той стороне. С точки зрения духов и всей оппозиции. Показывали и наших перебежчиков, даже офицеров штаба... Один полковник ушел с секретными картами. Нашим пришлось проводить незапланированную операцию. С большими потерями... но полковника не стало... А в Кабуле есть группа целая предателей, человек двенадцать. Во главе — бывший наш офицер. Ходят в советской форме, говорят по-русски. Эти опаснее духов. Чужие среди своих...*

— Значит, сегодня спал на соседней койке, а завтра — в тебя же из-за угла? — не выдерживает Федор Васильевич. Жалобно, возмущенно скрипит под ним старый диван. — Кому ж тогда верить?

— А как же не верить? — Сергей резко поднимает голову, поправляет упавшую белую прядь. — Как же не верить? Пре-

* История с «группой Керимова» похожа на миф: рассказов о ней много, но очевидцев нет. Возможно, это и есть миф, а проще — пропагандистская «утка», пущенная нашим командованием для повышения бдительности и усиления дисциплины в кабульском гарнизоне. (Прим. авт.)

дателей единицы, неужели из-за них — всех своих братков подозревать? Что тогда от армии останется? А там ребята... — он повернулся к Федору Васильевичу, потом ко мне... — там такие ребята. Сколько раз сам, на моих глазах... В роте он последний разгильдяй, никудышный совсем солдат, какая на него надежда? А в бою... часто именно такие закрывают от пули офицера, погибают, спасая друзей. Так кого же подозревать? Восемнадцатилетних пацанов, которые в окружении не сдаются, подрываются на последней гранате?.. Однажды был бой... духов в пять раз больше, чем наших, и они, случай редчайший, пошли в рукопашную. И тогда... брат обхватывал духа и срывал чеку. Один забирал с собой двоих, троих...

Он вдруг замолкает, и мы молчим. До тех пор, пока он не произносит ту самую фразу:

— Трудно представить, как это — подорвать себя. Нужна необыкновенная сила воли... Я два раза на mine взлетал, в третий боюсь...

— Чай подавать? — кричит из-за двери Галина Семеновна.

Они ушли, тесть и зять. Я стоял у окна и глядел им вслед. А со мной вместе вглядывалось в их спины солнце, брызнувшее вдруг из-за облака десятком бордовых предзакатных лучей. Холодны они, последние лучи осени, и не согреть им растрепавшихся Сережиных кудрей.

А затылок мой, оказывается, давно уже наливается болью. По всем приметам к ночи грянет южак.

Программа «Время».

Через неделю после выступления студента-афганца.

За неделю до вывода из Афганистана последнего нашего солдата.

Крупный план. Прорвавшаяся сквозь толпу к микрофону растрепанная пожилая женщина:

— Судить всех, кто вводил наши войска в Афганистан, всех, кто там воевал, убивал и продолжает убивать!..

Тут и гадать не надо: погромщица — из той редкой и благополучной семьи, где не знали таких слов, как «кресты» и «бутырка», «лагерь», «зэк», «58-10»... И нет у нее, разумеется, сына, служившего в Афганистане. Сама бы всех поубивала. И все-таки один вопрос, будучи на месте коллеги, что держал

микрофон, один вопрос я бы задал этой жаждущей крови женщине: скажите, мамаша, спросил бы я, а как же быть с теми, над кем пули и мины уже свершили свой, высший суд? С теми, чьи останки возвратились на Родину в свинцовых гробах наполовину с афганской землей? С теми, чьи судьбы на кладбищах мы сегодня разгадываем как головоломки по странным словам «погиб при исполнении служебных обязанностей»?.. С теми, кого сделали винтиками в этой кошмарной военной каше — и не в те далекие годы, когда по тайным приказам усатых вождей заливался праведной кровью алтарь светлого будущего, а в наши, просвещенные, восьмидесятые?

«После девяти лет войны человеческая жизнь там уже ничто. Погиб один — пришлют другого, незаменимых нет. Бушлат списать — куда труднее... А ведь потерь могло быть намного меньше... Однажды неподалеку от Кабула, в районе живописного озера, провели операцию по очистке территории. Выбили духов. Несколько десятков братков положили. И... построили виллу — к приезду высокой дипломатической особы...»

Я убит подо Ржевом,
В безыменном болоте,
В пятой роте, на левом,
При жестоком налете...

Ржев и сегодня не знает имен всех, бессмысленно и бесполезно положенных под пули на левом и на правом, в центре и в окружении. А могли бы еще воевать, и могли бы жить. И все-таки, все-таки у них —

...у мертвых, безгласных,
Есть отрада одна:
Мы за Родину пали,
Но она — спасена.

Песня внуков: «Я убит под Кабулом...»

«...трезвым в бой? Никогда! Не могу. Не за Родину же идем. Не знаем, за что...»

Завтра с того берега вернется наш последний солдат.
Здравствуй, Сережа!
Здравствуй?..

Певек—Ленинград, 1989

P.S.

Однажды летом в моей ленинградской квартире раздался звонок:

— Григорий Аркадьевич! Это Петр Васильевич, из Певека!

— Привет! Откуда, куда?

— Да я тут с семьей, привез внуков, Питер показать.

— Здорово! Может, увидимся?

— Да не получится, мы завтра уезжаем, я вам целую неделю звонил, и все никак.

— Жалко.

— Жалко, да что поделаешь? А вы знаете, что ваш рассказ в «Полярке» напечатали?

— Знаю, конечно.

— А вот я вас спросить хочу: почему вы меня Федором Васильевичем назвали? Надо мной все мужики в районе смеются: что, твой редактор забыл, как тебя зовут?

Я невольно улыбнулся.

— А вы им, Петр Васильевич, объясните, что это специально так сделано, все-таки это рассказ, не газетный очерк. А в рассказе я могу такое придумать, чего с вами никогда и не было. Назову вас правильно — опять мужики скажут: врет твой редактор! — Я говорил эти и еще какие-то необязательные слова, но думал о совершенно ином: в голове с самого начала разговора сидел вопрос, самый важный из всех вопросов, которые меня теперь могли беспокоить, и задать его надо было обязательно, и как можно скорей, пока не оборвался звонок из автомата.

— Скажите, а как Сергей? Вернулся?

— Вернулся, служит.

— Значит, живой?!.

— Живой...

Я вспомнил его глаза тогда, при единственной нашей встрече. Потухшие глаза обреченного: будто вся его недолгая дальнейшая судьба написана была в этих глазах. Но будто — не считается.

Бывают ошибки, которые приносят радость.